

Владимир Резник  
*СЛАВУТА И ОКРЕСТНОСТИ*

СБОРНИК РАССКАЗОВ



Владимир Резник

**Славута и окрестности.  
Сборник рассказов**

«Издательские решения»

**Резник В.**

Славута и окрестности. Сборник рассказов / В. Резник —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-931825-1

Всем, у кого ещё есть своя Славута, свой крохотный, медленно уходящий  
в воды Леты островок памяти, неумолимо размываемый безразличным  
временем.

ISBN 978-5-44-931825-1

© Резник В.  
© Издательские решения

## Содержание

ОКРЕСТНОСТИ	6
Победители	6
Тёмные аллели	19
1	19
2	20
3	23
«Медлительный еврей с печальными глазами»*	25
Вымерзшая долина	31
Конец ознакомительного фрагмента.	38

# Славута и окрестности

## Сборник рассказов

**Владимир Резник**

*Всем, у кого ещё есть своя Славута, свой крохотный, медленно уходящий в воды Леты островок памяти, неуловимо размываемый безразличным временем.*

*И ещё двум таким разным Кофманам, без которых не было бы этой книги. С благодарностью и нежностью.*

© Владимир Резник, 2018

ISBN 978-5-4493-1825-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## ОКРЕСТНОСТИ

### Победители

Когда они получили чемоданы и вышли из таможенной зоны, то первым делом, прямо в зале аэропорта, он нашёл киоск и купил зажигалку. Китайские пограничники на вылете из Гонконга ловко находили и отбирали всё, чем можно было устроить пожар, так что из трёх зажигалок на двоих у них с Машей не осталось ни одной. Курить не то что бы очень хотелось – перелёт был недолгий, всего два с половиной часа, но само ощущение ограничения – того, что вдруг захочется, а не сможешь – было невыносимым. Вьетнамских донгов у него ещё не было – не успел разменять, да и не хотелось это делать в аэропорту, и он протянул продавцу долларовую бумажку. Тот взял, начал лениво искать сдачу, поглядывая исподлобья, потом вдруг выскочил из-за прилавка и вместо сдачи молча сунул ему ещё одну зажигалку. Александр сначала опешил, потом рассмеялся над находчивостью продавца, тот тоже развеселился и проводил их до самого выхода с весёлым гортанным лопотанием. Гостиничный водитель ждал снаружи. По местным правилам он не мог заходить внутрь и даже подходить к зданию аэропорта, и потому стоял, держа табличку с названием отеля на уровне груди, как арестант на полицейской фотографии, терпеливо и покорно, в пёстрой толпе турагентов и таксистов, встречающих пассажиров на площадке возле автостоянки. Александр отдал ему чемоданы, запомнил, в какую машину тот их грузит, и, закурив, пошёл прогуляться вокруг и осмотреть аэропорт. Ещё на подлёте, когда их самолёт вынырнул из низких серых облаков и пошёл на посадку, он, прильнув к иллюминатору, безуспешно пытался узнать, вспомнить местность, посадочную полосу, ангары, само центральное здание. Готовясь к поездке, он прочёл в интернете, что полоса осталась та же – только удлиннили, да и здания все стояли на тех же местах, но, конечно, полностью перестроенные. Он уже прилетал сюда, в Дананг дважды, в начале восьмидесятых в короткие командировки – налаживать новые ракетные комплексы, прикрывающие аэропорт и военную базу. Потом их бригаду перевозили южнее, в Камрань, и улетали домой они уже оттуда. Построили этот аэропорт, как и саму базу, ещё французы в тридцатые; а после американцы в шестидесятые, во время той войны летали отсюда бомбить Север и готовили здесь лётчиков – и своих, и южновьетнамских. Сколько Александр не всматривался, ничего в этом современном здании и ухоженной, аккуратно постриженной и чисто выметенной округе, не смогло вызвать из памяти то, что он надеялся хоть ненадолго вернуть: ощущение того времени. Времени, когда всё было понятно, когда не ныло под вечер сердце и не подступала дурнота от одной только мысли о долгом перелёте и, главное, была уверенность, что всё ещё впереди, что всё ещё можно изменить. Он подумал о том, с каким, наверно, растерянным недоумением озираются здесь те, кто летал, и те, кто учился тут когда-то летать, – как собаки, привезённые в дом после капитального ремонта, – приюхиваясь, понимая, где они, но, не узнавая места и не слыша знакомых запахов. Докурив, он вернулся к машине. Маша уже сидела в салоне под кондиционером. Несмотря на то что солнце едва пробивалось сквозь обложившие небо клочковатые, ватные облака, было жарко, влажно и душно. Водитель дал им по бутылке холодной воды из кулера, набитого льдом, и они с Машей, открыв их, одновременно сделали по несколько жадных глотков. Оба поперхнулись, облились, посмотрели друг на друга и засмеялись – с приездом.

Ехать им было долго, часа полтора. Водитель аккуратно вёл машину, старательно соблюдая правила, и даже на совершенно пустом шоссе не разогнался, плавно притормаживал на поворотах, а въехав на территорию отеля, вообще поехал медленно-медленно, бережно объезжая каждый бугорок, чтобы не потревожить пассажиров. Александр дал ему три доллара

чаевых. Водитель взял; удивлённо улыбаясь, поблагодарил, и Александр так и не понял: то ли он мало дал, то ли водитель не ожидал и этого.

Оформление прошло легко и быстро. Там же на ресепшен он разменял двести долларов на вьетнамские донги. Ему выдали пачку разноцветных купюр с изображением Хо Ши Мина, он пересчитал и, засмеявшись, поздравил Машу:

– Смотри, как легко стать миллионером.

Маша округлила глаза на количество нулей:

– Сколько тут?

– Почти четыре с половиной миллиона, – ответил Александр.

– Так мы богачи! Гуляем! – развеселилась она.

Вежливый, улыбчивый менеджер за стойкой и услужливый консьерж неплохо говорили по-английски, и лишь когда портье уже грузил чемоданы на электрокар, на котором потом и подвёз их к вилле, они перекинулись между собой на вьетнамском:

– Ничего старикан себе девку прихватил для отдыха, – завистливо вздохнул консьерж.

– У них одинаковые фамилии, – сказал менеджер, оформлявший документы.

– Дочка, что ли, – удивился консьерж.

– Да вроде, жена, – безразлично ответил менеджер.

Александр понял, что они обсуждают, но только усмехнулся про себя. Он знал сотни три слов на вьетнамском и даже мог сказать несколько фраз так, чтоб его поняли – самое трудное в тональных языках. Но обычно он, а тем более с незнакомыми людьми, старался не показывать, что понимает, о чём при нём говорят. Это было полезно, а иногда и помогало выжить, особенно тогда – в той, прошлой жизни – не в восьмидесятые, а ещё раньше, когда служил он, и не служил даже, а по-настоящему воевал здесь, свежее испечённым старлеем, командиром зенитной стартовой батареи. Он сам напросился – да и не он один – весь их выпуск тогда написал заявления с просьбой отправить их во Вьетнам, помогать неожиданно обрётённому братскому народу бороться с империалистами. Вот и поехал. Много их – кто раньше, кто – позже оказалось здесь из того Брянского зенитно-ракетного полка, в который его распределили после военного училища. И обратно вернулись почти все. Почти. Это был ещё не Афган. Да, сбивали американские самолёты, прикрывали позиции вьетконговцев и Ханой от бомбёжек, но основной задачей было научить вьетнамцев управлять той техникой, которую сами же им и подарили. Это была не их война – их на неё никто не приглашал. Уже много позже он прочёл, что напросились они, вызвались помогать сами, чтобы и Америке не дать тут закрепиться и, что ещё важнее, оттеснить китайцев. Но всё это потом – а тогда молодой старший лейтенант верил в братскую помощь, в интернациональный долг и был преисполнен гордости от важности и секретности своего задания.

Он неплохо говорил и по-английски – ему легко давались языки: врождённые данные плюс усидчивость и привитая армией дисциплина. В отличие от большинства его соучеников – курсантов, он многому научился, многое приобрёл в училище, откуда другие выносили лишь привычку к казарменной жизни да вбитый непрерывной зубрёжкой устав. Английским языком он занимался серьёзно – даже подумывал одно время продолжить учиться дальше на военного переводчика, но началась служба, потом Вьетнам, и стало не до учёбы. Позже, когда уже ушёл из армии в перестроечные времена и занялся бизнесом, – и успешно занялся – то сначала сам, а потом и с нанятым преподавателем, студентом иняза, снова стал заниматься языком, поначалу в надежде на зарубежные контракты, а потом уже и просто так, для себя, по привычке.

Первая жена – тоже Мария – сначала посмеивалась над ним, мол, за границу бежать собрался? Потом эти занятия стали бесить её, как, впрочем, и всё, что он делал или не делал. Брак был бездетный, и когда после пяти лет они, наконец, разошлись, то оба вздохнули с облегчением. Она быстро вышла замуж за их общего знакомого – такого же, как и сам он, отставного майора, к тому времени похоронившего первую жену, и уехала с ним куда-то в Подмосковье.

А Александр остался в Брянске, наслаждаясь тишиной в недавно достроенном небольшом, но по-купчески солидном доме на тихой, зелёной окраине. Приходящей два раза в неделю домработницы хватало, чтобы поддерживать чистоту и порядок, а стряпать он любил сам. Налаженный бизнес, выживший в лихие 90е, и, хоть и с потерями, но прошедший через все кризисы, работал сам по себе и не требовал ежедневного присутствия. Денег и свободного времени было достаточно, и Александр занялся тем, о чём мечтал и чем не имел возможности заняться раньше – путешествиями. Первая поездка была в Грецию. Там он и встретил Машу – Машу вторую, как он поначалу окрестил её для себя, но которая быстро вытеснила в его сознании свою предшественницу и стала первой и единственной. После Греции они всегда путешествовали вместе, а последние два года уже как муж и жена.

Они привлекали внимание, бросались в глаза. Это был как раз тот случай, когда с глумливой ухмылкой подмигивают собеседнику: «Вон, вон, посмотри... вот... левее – а? «Папик» с «доченькой» идут». Они, действительно, выглядели именно так. Слишком велика была разница, чтоб это можно было скрыть вечерними, а тем более пляжными нарядами. Да они и не старались это скрывать. Косые взгляды окружающих его веселили и льстили мужскому самолюбию, а вот её поначалу расстраивали. Она чувствовала на себе не обычное восторженно-завистливое, как она уже привыкла, а злобно-недоброжелательное внимание, и поначалу это пугало и огорчало её. Потом она свыклась с тем мутным взглядом, появлявшимся почти у всех новых знакомых – как мужчин, так и женщин, которым Александр представлял её как свою жену. Потом это стало её забавлять. Потом стало безразлично. Им было хорошо вдвоём, а тот образ жизни, который они могли позволить себе вести, давал возможность не обращать внимания на тех, кто неприятен и не общаться с теми, с кем общаться не хотелось. В Азии обычно было проще. Может, дело было в том, что азиатам так же трудно определить возраст белого человека, как европейцу вычислить, сколько лет сухощавому и поджарому азиату, вне зависимости от пола; а скорее всего, в невозмутимой вымуштрованности работников хороших отелей, где они обычно останавливались. По-крайней мере, здесь даже она при всей её чуткости не ощущала ни ухмылок, ни косых взглядов в спину, провожающих их к лифту; взглядов, обволакивающих бедра и скользящих по её длинным, модельным ногам; оценивающих взглядов, подсчитывающих стоимость украшений и прикидывающих разницу в возрасте. А разница была велика. Несмотря на то что он в свои шестьдесят был крепок и не растерял ни выправки, ни, пусть и пепельно-седого, но ёжика волос – она, в свои неполные нерожавшие тридцать выглядела рядом с ним девчонкой. Женственной, зрелой, уверенной в себе, но всё равно девчонкой. Зато когда они выходили за пределы отелей – там она получала всё: улыбки, ухмылки, восторженный свист. Завистливые и восхищенные взгляды сопровождали её повсюду: провожали, щекотали спину, гладили ноги, лезли под платье. Мужчины и женщины на улице, официантки в ресторане, продавщицы в магазинах, осторожно и как бы невзначай пытались дотронуться до неё и, замеченные, смущённо шептали: «You are so beautiful»\* Высокая блондинка в этом царстве маленьких брюнеток – она выглядела Белоснежкой в окружении гномов. Правда, во Вьетнаме, позже, он тоже получил свою порцию почитания. По местному поверью, погладить или потереться о выпуклый живот приносит счастье и богатство и, пару раз зазевавшись и расслабившись, он обнаруживал, что кто-то ласково гладит его по уже слегка наметившемуся животику. А однажды весёлый продавец чего-то неведомого даже прижался к нему и был так счастлив, что у Александра не хватило духу рассердиться, и он только расмеялся вместе с окружающими.

Они были вместе уже три года – вполне достаточное время, чтобы выплыли наружу любые скрытые намерения, о которых, как и положено, намекали друзья и доброхоты с обеих сторон. А вот и не выплыло. Ничего. Да, они иногда бывали недовольны друг другом по мелочам. Иногда спорили. Но он не мог сердиться на неё подолгу, начинал винить себя и, когда

исчерпав аргументы и перейдя на эмоции, называл себя «Старым ослом» – она всегда поправляла:

– Саша, – она называла его только так и терпеть не могла всех этих Сашков, Саньков и прочих, как она называла их, «Собачьих кличек». – Ты и вправду проявил себя как осёл, но отнюдь не как старый... Напротив, ты повёл себя, как молодой, упрямый ослик.

Он непроизвольно хмыкал, сдерживая рвущийся наружу смех, и вся, неизвестно откуда взявшаяся злость немедленно проходила, и даже вспоминать о той ерунде, из-за которой завёлся этот ненужный спор, уже не хотелось.

Небольшая двухкомнатная вилла, которую они сняли на неделю в этом пятизвёздочном отеле, стояла близко к краю скалы, вертикально обрывающейся к морю. Внизу, глубоко, метрах в тридцати, лежал неширокий сероватого песка пляж с зонтиками и лежаками. К пляжу вела засыпанная белым щебнем дорожка с внешней стороны виллы. С трёх сторон – четвёртая выходила на море – вилла была отгорожена от отельной суеты густым, аккуратно постриженным кустарником в полтора человеческого роста. Стеклопанная раздвижная стена спальни выходила на восток, и когда Маша развела по сторонам тяжёлые шторы и раздвинула створки двери, то перед ней открылся Океан. Это хотя и многократно виденное чудо заворожило её как в первый раз, и, выскочив во дворик, она со всхлипом вдохнула и замерла. Он начал было разбирать дорожную сумку, но заметив её оцепенение, тоже вышел, тихо подошёл сзади и молча обнял. Потом быстро вернулся в номер, открыл заполненный стандартным отельным набором минибар, нашёл маленькую бутылку шампанского и, разлив по стаканам – бокалы он не нашёл – вернулся к Маше, так и стоявшей неподвижно снаружи и не отрывающей взгляда от океана. Между обрывом и villой был вкопан обложенный мраморной плиткой их персональный небольшой бассейн. Воды в нем было вровень с бортиками. Из него купальщику были видны лишь водная гладь, разноцветные рыбацьи лодки да линия горизонта – казалось, что поверхность бассейна без разрыва переходит в океанскую, сливается с ней, что ты в океане.

На следующее утро из-за сбитого перелётом режима они проснулись очень рано и застали восход. Оба были так захвачены, ошеломлены этим зрелищем, что все последующие дни заводили будильник, чтобы случайно не проспать, не пропустить тот момент, когда из-под розовой, постепенно наливающейся малиновым соком линии, за которой океан переходит в небо, пробьётся, вырвется наружу первый солнечный луч. Восход можно было наблюдать и лёжа в кровати, которая стояла изножьем к стеклянной стене, выходящей на океан, – достаточно было просто раздвинуть шторы. Но они вставали и, затаив дыхание, смотрели это ежеутреннее представление, сидя в халатах, на шезлонгах возле бассейна, а то и прямо в бассейне, в прохладной, успевшей остыть за ночь воде.

На третий день, когда Маша уже получила свою порцию солнца, слегка покраснела и обветрилась, он решил, что пора заняться тем, ради чего, собственно, и затеял эту поездку. Он позвонил в агентство, и на следующее утро у центрального офиса отеля их ждал арендованный джип. В этот день они просто покатались по округе: заехали в ближайший городок, купили сухого вина, каких-то сувениров для всех приятелей и знакомых, съели поразительно вкусный суп в грязноватой столовке, где обедали только местные. Разноцветные пластмассовые столики стояли прямо у дороги, и проносившиеся мимо мотоциклисты едва не задевали их голыми коленями. Он привыкал к машине, разбирался с картой и навигатором. Навигатор работал не везде, и когда они съехали с шоссе и попробовали забраться по грунтовой дороге глубже в джунгли, потерял связь. Они проехали ещё немного, но когда дорога стала плутать, раздваиваться и просто исчезать, скрываясь под быстро расплзающейся зеленью, он остановился и аккуратно, чтобы не увязнуть на размытой обочине, развернулся. Перед тем как поехать обратно, они вышли из машины покурить и размяться.

– Джунгли. Настоящие джунгли, – заморожено сказала Маша.

– Да не совсем настоящие, но джунгли, – криво усмехнулся он. – Всё-таки здесь и дорога и следы человека. Вон и посадки какие-то вдали. В джунглях не так. Только не отходи никуда. И ничего не трогай. Здесь половина растений могут быть ядовитыми.

Они вернулись на шоссе и поехали назад, в отель. Она что-то щебетала, восторгалась красотой, пейзажами, экзотикой. Он слушал её, не слыша, но согласно кивая и поддакивая.

– Джунгли, – думал он, – это красиво, романтично и увлекательно, когда читаешь об этом у Майн Рида или Хаггарда. А вовсе не тогда, когда твой подвижный дивизион – грязный, голодный и пропахший вонючим потом – после двухдневного марша по этим самым джунглям, окопался на недавно вырубленной в непролазной чаще позиции. Дикая жара, стопроцентная влажность, духота, москиты, болотная вода, которую надо дважды кипятить; ядовитые колючки, вызывающие гноящиеся, незаживающие раны; понос буквально от всего – уж не знаешь, что можно съесть, какую таблетку принять. Только бы натянуть штаны обратно и не стаскивать их каждые полчаса, с тоской и ужасом думая, что всё что угодно, только бы не амёбная дизентерия! И всё это при том, что в любую секунду, как только понимаешь, что тебя засекли, нужно немедленно сниматься, сворачивать оборудование и уходить, прорубаться дальше, вглубь этой чащи, на ещё не до конца подготовленную запасную позицию. Перетаскивать чуть ли не на себе всю многотонную технику, вязнущую в этом живом, шевелящемся и ядовитому аду. И маскироваться, скорее, маскироваться! А иначе, если запоздал, если задержался хоть на минуту дольше подлётного времени Фантомов, которые приноровились летать с авианосцев в Танкинском заливе на бреющем, на малой высоте, избегая твоих ракет – тогда всё, молись – отутюжат так, что и хоронить будет нечего.

Он не скрывал от неё ничего, но и не рассказывал лишнего. Армейская привычка отвечать только на поставленный вопрос и ничего более дополнялась у него гражданским правилом: говорить только правду, но не обязательно всю. А она была любопытна. Не по-женски, а как-то по-юношески жадно любопытна – ей действительно хотелось знать. Не выяснять, не докопаться – что там от неё утаили – а именно знать. Но при этом не была настырна и, если чувствовала, что ему по каким-то причинам рассказывать не хочется, не настаивала и сама переводила разговор на другую тему. Вот и на этот раз, когда он неожиданно сказал, что купил билеты и уже забронировал хороший отель во Вьетнаме, она ничего не спросила, почувствовала, что за этим необычным для него поведением есть что-то, о чем пока расспрашивать не стоит. Заметила его нервозность, когда он наигранно весело сообщил ей об этом, и почувствовала, что он напрягся, ожидая удивлённых вопросов. Обычно они планировали и обсуждали каждую поездку вдвоём, заранее. Впервые он, не предупредив и не спросив её, сделал всё сам. Это было странно и требовало разъяснения, но она подумала и решила, что лучше пока промолчать. Позже всё выяснится.

Уже на подъезде к отелю он очнулся и решил, что пришло время ей хоть как-то объяснить, куда он собрался, а может и попытаться отговорить от завтрашней поездки. Пусть лучше полежит на пляже, отдохнёт от него, сходит на массаж. Но как только он начал говорить, то по выражению её лица, по тому, как она замолчала и напряглась, понял, что предлагать это нельзя, что она страшно обидится.

– Я воевал тут в шестьдесят пятом – шестьдесят шестом. Ты знаешь об этом. Я тебе что-то рассказывал. Ну так вот я хочу проехать – нет, не по тем местам – там непролазные джунгли, хотя, кто знает, что там сейчас? Но хотя бы попытаться. Последним местом службы, после которого я уже и улетел отсюда окончательно, был небольшой аэродром – там, на Севере, отсюда часа четыре на машине. Наш дивизион прикрывал его. Жарко было. Бомбили тогда американцы всю. А из Союза прилетела смена. Мы же как бы вахтовым способом здесь служили. Несколько месяцев отвоёуешь, потом передышка, а потом снова сюда. Долго выдержать было сложно – нет, не страх, даже не напряжение – климат и джунгли. Жара, влажность, духота, дизентерия, москиты, фурункулёз у всех – офицеры, прошедшие Отечественную, и те с ума

сходили. Так вот я улетел, а мой друг остался ещё на неделю – его сменщик не прибыл – заболел. И... и не вернулся. Погиб при очередном налёте. Вот хочу посмотреть на те места ещё раз. Как говорят: преступника тянет на место преступления.

Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой и жалкой.

– Почему преступника? Ты считаешь себя в чём-то виноватым? – не удержавшись, спросила Маша?

– Нет, конечно, но... Не знаю, – с запинками ответил он. На лбу выступила испарина. Он неожиданно растерялся, и она пожалела, что задала этот вопрос.

– Нет. Конечно, не чувствую, – справился с собой Александр. – Но... это трудно объяснить. У меня никогда не было никакого чувства вины – да и за что? Но, знаешь, – он замолчал, закурил, придерживая руль одной рукой. Глубоко затянулся, выдохнул и закончил фразу. – Он мне снится стал. Недавно. С полгода назад. И снится чуть ли не каждую ночь.

Они выехали очень рано, впервые не дождавшись восхода. Ещё с вечера на кухне отеля им приготовили завтрак в дорогу. Большой, яркий пакет с едой и два пластиковых стакана с соком, тщательно завёрнутые в полиэтилен, ждали их на ресепшен. Дорога на север шла вдоль берега, то приближаясь к океану, то отходя от него и уступая место огромным отелям – уже во всю обслуживающих состоятельных гостей со всего мира или ещё только строящимся. Тут были все самые известные имена. Европейские, американские, австралийские сети отелей заняли побережье, расположились вольготно, захватив огромные территории и отгородив их высокими заборами от незваных аборигенов. Как будто и не было никакой войны. Словно не эти же страны совсем недавно посылали своих граждан, одев их в уродливую форму и назвав солдатами, воевать и умирать на этом чужом берегу. И они воевали и гибли тут тысячами, так и не поняв, зачем и ради каких великих целей их привезли в этот ад.

Это была не та страна, которую он, как ему казалось, знал – всё было другим и чужим. Тогда всё было просто: вот враги, вот друзья. Хотя – так ли всё было однозначно? Он вспомнил, как вьетнамцы стреляли по американским самолётам, укрывшись за советскими торговыми кораблями, – знали, что у лётчиков есть жесточайшие инструкции не задевать советских – не провоцировать ничего, что могло бы столкнуть Советы и Америку. Знали ведь – и беззастенчиво подставляли. Так мелкий хулиган из подворотни, натворив что-то, бежит под прикрытие старшего, сильного и авторитетного. А то и нарочно ползет задираться, зная, что, в случае чего, прикроют, выручат.

– Они использовали нас, – подумал он с горечью. – Просто использовали. Не были мы для них ни братьями, ни друзьями, а были, как это сейчас любят говорить – полезными идиотами. Сами и напросились. А стоит ли их за это винить? Маленький народ, сотни лет живший под кем-то. То китайцы, то японцы, то французы, а тут вот пришли коммунисты и пообещали – и столько наобещали. И свободу, и равенство... Кто там тогда понимал, что принесёт им Дедушка Хо, какую свободу, какое концлагерное счастье? Что они знали о том, что действительно происходит в той стране, которая первая поставила на себе этот страшный эксперимент? Хотя... судя по тому, как вилял Хо Ши Мин и как не хотел принимать ни китайскую, ни советскую версию коммунистического рая, он что-то знал и понимал – всё ж дважды побывал в Союзе. Ну и чем закончилось? Построил свой рай – с теми же концлагерями, голодом и миллионом несчастных, в ужасе бежавших сначала на Юг, а потом и вовсе из страны, подальше от уготованного им «светлого будущего».

Первую остановку они сделали, когда пересекли мост через Бенхай – реку, разделяющую когда-то Северный и Южный Вьетнам. Та самая знаменитая 17я параллель. Они остановились на небольшой площадке неподалёку от мемориальной арки и позавтракали тем, что захватили из отеля. Солнце уже взошло, но висело ещё невысоко над дымчатым горизонтом, с реки дул ветер, и было совсем не жарко. Её разбирало любопытство, но она терпела, дожидаясь момента, когда ему самому захочется рассказывать. И дождалась. Эта бывшая демилитаризованная зона,

эта условная грань между двумя мирами, между двумя совершенно разными способами прожить свою жизнь – и послужила толчком, стала той каплей, после которой всё накопившееся, всё давно сдерживаемое, наконец-то, вышло наружу. И он – поначалу медленно и с паузами – а потом всё больше и больше распалаясь, стал рассказывать ей всё, что думал и во что верил тогда, и всё, что узнал и понял позже.

Она ничего не знала о той войне. Дитя восьмидесятых – что она могла знать, кроме нескольких строчек в регулярно переписываемом школьном учебнике истории? Что она могла понять, если и сам он – непосредственный участник всего – только недавно стал сомневаться, а значит и пытаться разобраться в том, что на самом деле здесь произошло. Для неё это был лишь один из многих забытых военных конфликтов, в которых поучаствовала страна, где она родилась, и которой больше не существовало.

Дальше на Север они ехали под его монолог. Он, не отрывая взгляда от дороги, говорил и говорил; слова текли потоком, словно сорвало какой-то шлюз. Он то гладко излагал какую-то, видимо, уже отработанную, не раз рассказанную историю из тех военных лет, делая паузы в нужных местах и дожидаясь её реакции. А то, внезапно, начинал что-то сбивчиво и несвязно бормотать, явно не подготовленное, зажатое глубоко внутри, и только вот сейчас обретя, наконец, форму и звук, вырвавшееся наружу. Она старалась не комментировать и не двигаться, чтобы не отвлечь, не сбить его. В нужный момент негромко смеялась, в нужный сочувственно кивала, а остальное время сидела молча, не шевелясь и затаив дыхание.

На пятом часу дороги навигатор что-то пропищал и Александр, остановившись на полуслове, стал искать нужный съезд с шоссе. Он не смог бы найти эту дорогу сейчас – слишком всё изменилось за прошедшие сорок лет, но у него сохранились географические координаты места. Цепкая память ракетчика запомнила их ещё тогда, а позже он их записал, конечно, без пояснений – всё же секретная информация была. Сейчас он ввёл эти координаты в навигатор, и тот повёл их с шоссе на запад по старой бетонной, потрескавшейся дороге. Дорога, пропетляв между ухоженными, разделёнными на небольшие прямоугольники полями, стала плавно взбираться вверх по склону холма. До перевала они ехали больше получаса. За это время им не встретилось ни одной машины, ни единой живой души. Даже возле лачуг, стоящих по краям полей, было безлюдно. Но дорога была проезжей. Если бы ей не пользовались, джунгли быстро поглотили бы её, взломали бетон, накрыли живым зелёным одеялом. Дорога прошла через перевал, и впереди внизу показалась долина. С трёх сторон её окружали невысокие холмы – четвертая была открыта, и только где-то вдаль у горизонта виднелись горы. Солнце уже поднялось высоко, долина была залита светом, и Александр сразу узнал её – идеальное место для аэродрома. Он припомнил, как была расположена взлётная полоса, и тогда только смог увидеть, выделить в казалось бы хаотично разросшейся зелени прямые линии – границы полосы. А рядом, там, где был когда-то пункт управления и ангары, разглядел какие-то строения, в стороне – расчерченные квадратики полей и, как ему показалось, человеческие фигурки.

Вниз дорога пошла гораздо резче, чем на подъём, и он вёл машину, постоянно притормаживая, аккуратно и плавно въезжая в повороты. Сердце колотилось. Хотелось нажать на газ и помчаться вниз, но он сдерживал себя, удивляясь, что он, всегда считавший себя холодным и рассудочным, так разволновался.

Когда они спустились в долину, было уже половина двенадцатого. Солнце жгло нещадно, ветра не было. Влажная духота мгновенно вытеснила холодный, кондиционированный воздух и обволокла их, как только он открыл окно. Но курить хотелось, и Маша, опустив стекло со своей стороны, закурила тоже. Они успели докурить как раз к тому моменту, когда дорога, вильнув в последний раз, закончилась тупиком. В тупике стояла покосившаяся будка часового с разбитым окном; опущенный полосатый шлагбаум, обвитый лианой; ржавая цепь – КПП: контрольно-пропускной пункт.

– Символ, – подумал он. – Что-то слишком простенькая символика. Жизнь – дорога – шлагбаум, с проржавевшим замком. Банальность. Хотя – может всё к этому и идёт? К упрощению. К простому разъяснению перепутанных смыслов и, в результате, к простым, базовым объяснениям того, что мы сами усложнили, запутали, заболтали, покрыли слоями ненужных и ничего не значащих слов?

Он захлопнул дверцы, поставил джип на сигнализацию, и они пошли к полуразрушенному одноэтажному строению, вросшему в землю в двух десятках метров за шлагбаумом. Обогнули его и увидели старика, сидящего на корточках в проёме выбитой двери, черневшей единственным пятном на кирпично-красной, вытянутой, сплошной без окон стене. Старик курил кривую самодельную трубку, слепо смотрел вдаль и, когда Александр с Машей подошли, даже не повернул голову. На нём были старые, вылинявшие армейские штаны, обрезанные выше колен и превращённые в шорты, и застиранная до бледно-салатной зелени гимнастёрка. Александр поздоровался на вьетнамском – Маша удивлённо посмотрела на него. Старик поднял на них безразличный взгляд; после паузы, вынул трубку изо рта и ответил приветствием. Александр набрал воздуха, сосредоточился и продолжил на вьетнамском:

– Я русский. Я служил здесь когда-то. На этом аэродроме. Приехал посмотреть. Вспомнить, – он говорил короткими фразами, стараясь максимально выдержать интонации: вверх, вниз, нейтральную – как учил его когда-то, здесь же, на этом месте, молоденький вьетнамский сержант из его батареи. Александр уже репетировал эту речь дома вслух у зеркала и в последние дни многократно произносил её про себя. Что понял из его монолога старик, было неизвестно, но он неожиданно легко поднялся и, ткнув трубкой в направлении ряда похожих на сараи деревянных лачуг, стоящих возле бывшего взлётного поля, сказал:

– Пойдём, я знаю, кто тебе нужен.

Медленно ковыляя впереди, он подвёл их ко второй с ближнего края хижине. Она не отличалась от остальных: крыша, крытая ржавым листом железа с разложенными поверх бамбуковыми листьями; в единственном окне разбитое стекло, фигурно заклеенное скотчем; земляной пол. У входа на утрамбованной жирной земле играли два полуголых, чумазных мальчугана лет четырёх-пяти. Провожатый заглянул внутрь, что то крикнул – Александр не разобрал что – и повернулся к ним:

– Он тут воевал. Он тот, кого ты ищешь, – и, не дожидаясь благодарности, развернулся и, так же неторопливо прихрамывая, пошёл обратно.

Свет попадал внутрь лачуги через открытую дощатую дверь и единственное наполовину заклеенное грязное окно. Александр шагнул в полутьму, остановился и попробовал воздух. Так, зайдя в грязный привокзальный туалет, поначалу задерживаешь дыхание и только проверяешь запах. Не вдыхаешь, а только чуть-чуть втягиваешь – принохиваешься и решаешь, стоит ли дышать дальше или сдавить, зажать внутри остаток чистого воздуха, продержаться на нём и вон отсюда – туда, где можно, наконец-то, без отвращения и с облегчением вдохнуть. Было терпимо. Когда глаза привыкли к полутьме, он разглядел, что внутри в единственной комнате стоят две кровати: те самые железные кровати с панцирной сеткой, на которых он проспал большую часть своей казарменной юности, и самодельный, сколоченный из того, что было под руками, стол. Под стол были задвинуты два старых, ещё советских снарядных ящика, видимо, служивших табуретками. Одна кровать была пуста. На второй, спустив на земляной пол тощие ноги, сидел человек. В полутьме он мало чем отличался от того безразличного старика, который привёл их сюда. Остатки редких волос на обтянутом смуглой кожей черепе, неопределённого цвета шорты, тощие босые ноги. Ни майки, ни футболки на нём не было. Маша, которая вошла вслед за Александром внутрь и, так же как и он, поначалу инстинктивно затаила дыхание, подумала, как резко отличается это безволосое, худое тело от сытого, плотного и крепкого торса её мужа.

Александр снова произнёс ту же заученную фразу, которую сказал старику у шлагбаума. Сидящий на кровати не отреагировал. Сидел молча, не шевелясь. Тогда Александр, уже не заботясь о правильной интонации, стал вспоминать всё, что он знал на вьетнамском и собирать это в короткие фразы:

– Ты не помнишь меня? Я был здесь в шестьдесят шестом. Мы воевали тут. Вместе. Сбивали американцев. Я командовал батареями.

Старик молчал, но что-то неуловимо изменилось в его позе, он как-то подобрался, словно собираясь встать, и Александр внезапно понял, что знает этого человека, что они встречались в той, прежней жизни, которую он, неизвестно зачем, сейчас пытается вытащить на свет из дальнего уголка памяти.

– Ты меня не помнишь? – спросил Александр, теперь уже по-русски, вглядываясь в глаза старика и тщетно пытаясь уловить в них хоть какое-то узнавание. Если это был тот, о ком он подумал, то он должен был понять.

– Тебя не помню. Жеку помню, – так же по-русски, спокойно и равнодушно ответил старик.

Александр замер. Ватная глухота придавила, накрыла его душным одеялом. Имя, внезапно возникшее из ниоткуда, вызванное из небытия этим странным стариком, мгновенно изменило мир вокруг. Стало нестерпимо жарко. Не хватало воздуха. Он повернулся к неподвижно стоящей за его спиной Маше:

– Принеси, пожалуйста, из машины пару бутылок воды и захвати пакет из багажника.

Он протянул ей ключи. Она поняла, о каком пакете речь – в нём лежала бутылка экспортного «Русского стандарта» и закуска: крекеры и нарезанный сыр в вакуумной упаковке – всё это они купили в дьюти-фри во время пересадки в Москве. Она кивнула, молча взяла ключи и вышла.

– Нгуен? Это, действительно, ты?

– Ты Саня. Я вспомнил. Ты был здесь. Ты улетел. Мы остались. Жека остался.

– Да, Нгуен – это я. А что – сильно изменился?

– Мы все изменились, Саня, – те, кто ещё жив. Те, кто умер, – они не меняются.

Старик говорил по-русски с сильным акцентом, но фразы строил правильно. Он ещё тогда, в шестьдесят шестом неплохо говорил, быстро всё перенимал, и они часто использовали его в качестве переводчика. Голос был невыразительный, ровный, лишённый эмоций, словно из синтезатора. Александр всматривался в старика в тщетной надежде воссоздать в этом костлявом призраке того молодого вьетнамского паренька, которого он учил вычислять расстояние до цели, пользоваться приборами, системой наведения, с которым мог часами говорить обо всём – паренька, который стал его тенью, копировал всё, что он делал, жадно и искренне впитывал всё новое. Лицо старика было неподвижно. Даже губы, казалось, не шевелились, когда он говорил. Приглядевшись, Александр понял, что у того нет передних зубов, и в полумраке, в котором он находился, чёрный провал рта на месте, где подсознательно ожидаешь увидеть белое пятно, и создавал иллюзию неподвижной маски, в которую превратилось его сморщенное лицо. Вернулась Маша с бутылками воды и пакетом. Он протянул одну бутылку Нгуену. Тот взял, но не открыл, а продолжал держать в руке. Александр открыл свою – не отрываясь, выпил половину.

– Нгуен, садись к столу. Давай выпьем, поговорим, помянем.

Старик колебался, и Александр понял его сомнения по-своему:

– Машенька, может ты погуляешь снаружи, покуришь. Я не долго.

Это прозвучало обидно, но ему было уже не до тонкостей. Маша поняла. Она коротко кивнула и вышла. Александр сделал приглашающий жест. По-хозяйски выдвинул ящики из-под стола, достал из пакета бутылку водки, выложил и открыл упаковки с сыром и крекерами. Маша, умница, захватила одноразовую посуду, и он в который раз подивился её житейскому

уму и предусмотрительности. Разлил водку по картонным стаканчикам. Нгуен, наконец, встал с кровати, сделал два неуверенных шага к столу и сел на подвинутый Александром ящик. Взял в руки стакан с водкой. Александр взял свой, поднял, собрался что-то сказать – в голову лезла одна дрянь. Он столько раз представлял себе это, столько раз думал о том, что именно скажет – ему это казалось важным – и вот этот момент настал, а слов не было. Он pokrutil стакан в руках, что-то промычал, попытался чокнуться со стариком, вспомнил, что этого делать не надо и, махнув на всё, залпом выпил. Сразу захотелось курить. Он достал сигареты и по взгляду, брошенному стариком на пачку, понял, что промахнулся – надо было привезти в подарок блок хороших сигарет. Нгуен молча выпил; кивнув, взял из протянутой пачки сигарету, прикурил. Молчание затягивалось, и Александр, на которого спиртное в этой жаркой духоте подействовало немедленно, заговорил первым:

– Как ты живёшь, Нгуен? Ты на выслуге? Пенсию получаешь?

– Да, пенсию получаю. Хватает. Брат не получает. Вот вместе и живём, – сказал Нгуен.

– Почему не получает? – удивился Александр. – Ведь он тоже воевал?

– Воевал, – ответил Нгуен, – только он за Юг воевал. А потом в лагере сидел. Вот выжил, только больной совсем. Ты видел его. Это он вас привёл. И дочка его в лагере была. В другом лагере – для детей.

– Я помню, у тебя ещё старшая сестра была и племянница. Как они?

– Племянница – дочка сестры – в Канаде живёт. Иногда присылает что-то: вещи, подарки. Денег не шлёт, а может не доходят – я не знаю.

– А сестра жива?

– Нет – пропала. Когда мы пришли, она пыталась уплыть из Сайгона, на лодке, надеялась, что американцы подберут – знаешь про людей в лодках?

– Читал. Недавно.

– Вот на такой лодке и утонула. Много их тогда утонуло, очень много. А вот племянницу спасли.

Наступила пауза. Александр лихорадочно искал, что бы сказать ещё, что-нибудь не очень значительное, только бы не подступать к самому важному – к тому, что хотел и боялся узнать. Ничего в голову не приходило. Он налил ещё. Пододвинул к старику сыр. Они ещё раз молча выпили, и Александр на выдохе, как бы первое пришедшее в голову – спросил:

– А как Май? Как она? Ты что-то о ней знаешь?

– Май умерла три года назад, – ответил старик. Ничего не изменилось, не дрогнуло в той маске, из которой исходили слова. – Здесь, – и он показал на соседнюю кровать. – Мы жили тут много лет. Детей нет. Вот с братом теперь живём.

– У меня тоже детей нет, – зачем-то невпопад сказал Александр. – Не получилось.

Он хмелел. И это облегчило, дало ему возможность, наконец, подойти к вопросу, который ему и хотелось задать с самого начала:

– Расскажи мне – как погиб Жека?

Впервые с начала разговора, старик ответил не сразу. Помолчал. Взял ещё одну сигарету. Александр, перегнувшись через стол, дал ему прикурить. Нгуен сделал несколько затяжек, закашлялся, а отдышавшись, спокойно сказал:

– Налёт был. Много стреляли. Много шума. Все стреляли. И я стрелял. Я убил его. Никто не видел.

Холодный ручеек пота пробежал от затылка вниз по позвоночнику. Надо было что-то сказать, сделать, закричать, но Александр сидел молча, придавленный услышанным, и с ужасом понимая, что оно его не поразило. Он как будто услышал то, что уже знал или о чём догадывался раньше. Они долго сидели молча. Старик курил. Александр крутил в пальцах кругляшок крекера, потом сломал его и, наконец, спросил сиплым, чужим голосом:

– Как? Случайно попал?

– Нет. Ты знаешь – я хорошо стрелял.

– Так почему? Почему ты его убил?

– Он вышел от Май, а Май была моя. Я любил её. Я хотел на ней жениться.

Хмель прошёл. Вот оно. Рано или поздно, но всё равно это случается. Прошлое догонит тебя. Вот зачем он сюда приехал. Вот почему ему снится Жека.

– Нгуен. Это не он. Это я ходил к Май, – он хотел сказать, что он не знал, что Нгуен и Май... но остановился. Это было бы глупое и стыдное враньё – всё он тогда знал.

– Я знал, что это ты ходишь к Май. Но темно было. Я думал, что это ты, не Жека. Я не знал, что ты уже улетел.

Старик замолчал, но Александру казалось, что слова не исчезли с истаявшим звуком, а продолжают висеть в вязком и плотном воздухе комнаты.

– Так ты хотел убить меня?

Старик сидел неподвижно, выпрямившись, застыв и только глаза – потухшие блеклые глаза – вдруг ожили и сверкнули из глубоких впадин. Александр вдруг тоскливо подумал:

– Я про себя называю его стариком. Но он же моложе меня. Как минимум на пару лет моложе. А Май была тогда ещё совсем девочкой – только семнадцать исполнилось. А Маша... Я старше её отца – хотя нет – она не знает отца. Но по крайней мере я точно старше её матери – этой карги, которая смотрит на меня с ненавистью и жадностью. О чём это я? Почему я сейчас думаю об этом?! Я только что узнал, что моего близкого друга убили из-за меня... вместо меня... почему я спокоен?

То, что прозвучало сейчас, должно было быть для него шоком – ужасным, страшным откровением. Но ничего, кроме внезапно навалившейся усталости, он не почувствовал. Усталость и безразличие, словно речь шла не о нем и о его ближайшем друге, не о девочке, которая когда-то его любила, а о каких-то чужих и далёких ему людях. Словно этот сухой старик тогда, сорок лет назад, целился не в него и по ошибке убил не его Жеку, весельчака и любимца дивизиона, – нет, это всё случилось с кем-то другим. Всё прояснилось – и почему-то стало уже не важным. Все неизвестные ранее детали прошлого легли без швов и зазоров на свои, давно приготовленные места, – мозаика сложилась. Говорить было больше не о чем. Всё было сказано, сделано и завершено ещё тогда – много лет назад. Всё, что происходило потом, было предрешиено, было следствием того, что случилось в ту душную ночь шестьдесят шестого. Но и сама эта цепочка причинно-следственных связей, смертей, несостоявшихся рождений, начатых и прерванных жизней – весь этот многократно разветвляющийся и вновь сходящийся лабиринт был лишь составной частью другого, бесконечно большого клубка судеб, в котором и затерялись их истончившиеся ниточки – запутанные, переплетённые и преждевременно оборванные.

Мучавший его вопрос, разрешившись таким страшным и неожиданным образом, стал уже неважен. Он только подумал, что теперь Жека перестанет ему сниться, ну а если снова придёт – что ж – он знает, что ему ответить.

Разговор был окончен. Можно было уходить. Он разлил остаток водки. Следовало выпить молча, но многолетняя практика офицерских застолий помешала, и он неожиданно для себя сказал:

– За победу!

– За чью победу? – неожиданно резко отозвался Нгуен.

– Что значит – за чью, Нгуен? Мы же победили!

– Мы? Кто это мы? Я? Или мой брат? А может моя сестра? Мои племянницы? Которая из них, Саня? Та, что в Канаде, или дочь брата, которая мечтает устроиться уборщицей в американский отель? А может Май победила? Ты знаешь, что через неделю, после того, как ты улетел, её отправили «искупать вину» – слышал, что это такое? Из-за тебя! Кто-то донос напи-

сал, что она с иностранцем связалась. Я два года потом её из лагеря выпрашивал: рапорты писал, объяснения. Потому навсегда сержантом и остался.

Старик словно очнулся, выпрямился. Фразы стали длиннее, голос окреп, в нём появились сила и страсть:

– Мы победили? Миллионы убиты – за что, зачем? Чтобы сейчас вернуться туда, куда мы могли без крови прийти сорок лет назад? А кто проиграл тогда, Саня? Американцы? Которые? Те шестьдесят тысяч, которых вывезли в гробах? Или нынешние? Ты же видел все эти отели на побережье – это американцы. И другие, из тех, кого мы тогда «победили».

– Но ты же воевал за это, Нгуен, – растерянно, но в то же время резко, пытаясь защититься, сказал Александр, оторопевший от этого неожиданного напора.

– Да, Саня. Воевал. Вот за это и плачу. Уже много выплатил – недолго осталось. А вот Май своё уже заплатила. И многие другие.

– Кто же тогда победил, Нгуен?

– Вот ты и победил. Ты – богатый, здоровый, с молодой женой – ты и победил. Ты победил!? Как ты мог победить? Разве это была твоя война?

– Мы были солдатами, Нгуен.

– Да. Мы были солдатами, Саня. Солдаты победителями не бывают.

Старик замолчал и сник. По потухшим глазам было понятно, что говорить он больше не будет. Он не пошевелился, не повернул голову, когда Александр встал и, пошатываясь, вышел, а всё так же безучастно и неподвижно сидел, уставив невидящий взгляд – то ли в далёкое прошлое, то ли в уже понятное и близкое будущее.

Когда Александр вышел из хижины, Маша весело играла с двумя мальчишками в какую-то игру. Они бросали по очереди гладко обточенные камушки в деревянную фигурку, стоящую в расчерченном на земле квадрате. Смысла игры Александр не уловил, но Маша, похоже, не понимая ни слова, правила знала или делала вид, что знает, и с азартом сражалась с пацанами на равных, ничуть не смущаясь тем, что до колик веселит их ошибками и по-женски неуклюжими бросками.

– Что я наделал, – вдруг подумал он. – Зачем я привязал к себе эту девочку? Что я могу ей дать? А ту, другую – Май – зачем? Маленькую, смешную Май? Она была такая смешная – даже когда она заплакала в первый раз – я сказал, что завтра улетаю – она плакала горько и безутешно, но глядя на неё, почему-то хотелось смеяться. Так бывает, когда плачут грудные дети: иногда их гримасы настолько комичны, что хоть и разрываешься от жалости, а смеёшься – ну, ничего с собой поделать не можешь – смешно и всё тут. Может, Маша послана, дана мне взамен Май? То есть я бросил – да будь ты честен сам с собой – предал одну, а взамен получил другую? У меня там что – блат в этом небесном генштабе? Как мне всё это: Май, Жека, Маша – сошло с рук? И Маша – что делать с ней? Ведь я её тоже потеряю.

Он лишь однажды, когда сделал ей предложение – сделал, как умел – хоть и пытался обойтись без купеческого шика, но все равно не удержался: луна, море шампанское – офицер же – вскользь, но упомянул, что детей у них не будет. Какие дети, когда тебе под шестьдесят? Она промолчала тогда, и он посчитал, что это условие принято. И вот сейчас, увидев, как радостно и увлечённо она играет с этими мальчишками, он понял, что снова ошибся.

Всю обратную дорогу он молчал. Она осторожно попыталась расспросить его о том, что произошло, кто этот человек, с которым он так долго разговаривал? Он отвечал односложно, невпопад и она, видя его настроение, вскоре замолчала тоже. А вечером за ужином, он неожиданно и страшно напился. Он заказывал и заказывал, а официант все приносил и приносил. И когда она поняла, что происходит, и попыталась остановить, увести его оттуда было поздно. Он её просто не видел, перестал замечать окружающих. Громко, сначала по-русски, а потом и вставляя вьетнамские слова, он спорил сам с собой, вернее с кем-то невидимым, кому он что-то доказывал, убеждал, перед кем за что-то извинялся. Речь его была обрывиста, не связана,

часть фразы, должно быть, произносилась им в уме, а часть вырывалась наружу. Самым повторяемым словом в этом пьяном бреде было: победа. Он снова и снова пытался выяснить у невидимого собеседника: так кто же победил, кто? Ведь должен же быть кто-то? Ведь не все же проиграли? Публика в ресторане: немецкие пожилые пары и компании молодых американцев – посматривала на них, кто с усмешкой, кто с брезгливым недоумением. Сначала ей было стыдно, потом стыд исчез и остался только страх за него – таким она его никогда не видела.

С помощью портъё, она дотащила его до виллы. Он не дал себя раздеть и, упав на кровать, заснул, как был – в светлых брюках и рубашке. Ночью он несколько раз вставал, разделся, пил воду, курил на улице. Она спала очень чутко и каждый раз, когда он поднимался, просыпалась и, полуприкрыв глаза, внимательно следила. Такое случилось впервые, и она не знала чего ждать. Боялась, что он упадёт в бассейн и утонет, что вдруг оденется и уйдёт куда-то в душную, звенящую цикадами ночь и будет снова что-то кому-то доказывать, выяснять, оправдываться.

Два оставшихся дня они провели в отеле. Александр был непривычно вял и тих. Не хотел никуда выходить, даже на пляж. Позвонил в турагентство и отменил заказанную заранее экскурсию в Далат. Он предложил сначала Маше поехать самой, но она категорически отказалась, побоявшись оставить его одного. Так они и пролежали два дня на шезлонгах возле бассейна, то с книгой, то в полудрёме, поднимаясь только для того, чтобы сходить на ужин. Не в тот же, а в другой, дальний ресторан. Завтрак он заказывал в номер, и это было даже лучше. Они завтракали теперь очень рано, на маленьком столике возле бассейна, запивая холодным сухим вином, глядя на океан, на разноцветные паруса рыбацких лодок и греясь под ещё нежарким, только выкатившимся из-за горизонта солнцем.

В самолёте он заснул, положив голову на Машино плечо. Она сидела молча и неподвижно, стараясь не потревожить, не разбудить и только когда он вскидывался во сне, придерживала его голову рукой и шептала на ухо:

– Тсс... Спи... Спи, мой Победитель...

А ближе к концу полёта она тоже задремала и не заметила, как он вдруг вдохнул – сильно и глубоко – задержал дыхание и уже не выдохнул, а просто воздух тихо вышел из него, как из дырявого воздушного шарика.

## Тёмные аллели

### 1

Бывать в аэропорту Ростику приходилось довольно часто. Он искал женщин на сайтах знакомств, и предпочтение отдавал тем, кто живёт подальше: в других городах, а ещё лучше – странах. Лучшие экземпляры в его коллекции были из России и Украины, но нравились ему представительницы и других частей того огромного Советского Союза, в котором он хоть и не долго, но успел пожить. Дело было даже не в языке – английский у него был приличный и трудностей в общении с американками он не испытывал, да и русскоязычных женщин в Нью-Йорке хватало. Но не складывалось у него. То ли был он слишком заманчивой целью: тридцатидвухлетний, высокий и симпатичный блондин, да ещё и хорошо зарабатывающий холостой программист; то ли девушки, казавшиеся на родине милыми бессребреницами, мечтавшими только о романтической любви, переехав на другой континент, быстро научились у своих американских товарок хваткости и алчности, но все знакомства Ростислава с местными жительницами заканчивались довольно скоро: как только он чувствовал, что границы его свободы начинают сужаться. А свободу он ценил. Выход был найден быстро: он приглашал приглянувшуюся ему на сайте девушку провести неделю-другую в столице мира, обещал показать все чудеса и тайны Нью-Йорка – и, как правило, выполнял свои обещания. Иногда, если чувствовал колебание, он сам покупал ей билет, и этот широкий жест разрешал все её сомнения. Потом были две недели праздника, а после недолгие проводы, иногда слёзы и обещания звонить каждый день вплоть до следующего, но так никогда и не сложившегося приезда. Изредка – для этого он отбирал кандидатку особенно тщательно – он приглашал девушку с собой на отдых в Мексику или в Доминикану. И не было случая, чтобы хоть одна отказалась.

Вот и сейчас он стоял, зажав под мышкой дюжину темно-красных роз, всматриваясь в пёстрый поток пассажиров, толчками выплёскивающийся из раздвижных дверей таможни, и лениво думал, что каждый раз, когда он встречает очередную подругу, в толпе выходящих обязательно найдётся женщина, которой он бы с радостью отдал заготовленный не для неё букет, и уехал с ней – вместо той, которую ждёт. Так случилось с ним и на этот раз, только хуже. Он увидел её, но и она увидела его; и она его узнала. Она не показала этого: не кинулась радостно на шею и даже не кивнула удивлённо, но безразличный взгляд её, скользнув по нему, на долю секунды замер, метнулся вниз на букет и только потом двинулся дальше, отыскивая кого-то в редкой цепи встречающих. Она не остановилась, а продолжала медленно идти, держа за руку белобрысого мальчишку лет четырёх, одетого в джинсовый комбинезон и ярко-красный джемпер. Другой рукой она катила сбоку огромный фиолетовый пластиковый чемодан на колёсах. Не обнаружив того, кого искала, она замерла, повела головой по сторонам, снова вернулась взглядом к Ростиславу и, наклонившись к ребёнку, почти накрыв его тяжёлой волной каштановых волос, что-то проговорила, указав в его сторону. Мальчишка подпрыгнул и с радостным воплем: «Папа» – помчался на Ростика. Тот замер, застыл – и это спасло его от позора. Мальчишка промчался мимо и с визгом запрыгнул на руки мужчине, стоявшему чуть правее, за Ростиковой спиной. Она неторопливо, улыбаясь и глядя поверх него, подошла, протиснулась между ним и стоящей рядом женщиной, извинилась и, явно нарочно, зацепила его чемоданом. Ростик промолчал, его бил озноб, он не повернулся, но и, не оборачиваясь, понял, почувствовал, что она целуется с мужем. Мальчишка не хотел слезать с отцовских рук, и она сказала: «Ну, ты неси Росса. А я чемодан покачу, он лёгкий». Ростик хотел было оглянуться, чтобы посмотреть им вслед, как внезапным быстрым движением она на мгновение прижалась к нему сзади, и насмешливый горячий шёпот обжёг ухо: «Что, струхнул? А ведь,

правда, похож». Прошло ещё несколько секунд, прежде чем Ростик решился повернуть голову. Они были уже у выхода. Широкоплечий черноволосый мужчина нёс на руках ребёнка; она, в тонком обтягивающем платье шла чуть позади и катила свой гигантский чемодан грациозно и легко, словно вела на поводке болонку. Эту картину он уже видел. Они уже уходили так, почти пять лет назад, в этом же аэропорту, в эту же дверь, вот только ребёнка тогда не было.

## 2

В каждом самолёте, направляющемся в Нью-Йорк, откуда бы он ни вылетал: из центра уютной Европы или с самого заброшенного островка в Новой Каледонии, обязательно окажется хоть один русский или, как сейчас принято политкорректно выражаться, русскоговорящий. Подразумевают под этим корявым определением и самих русских, и евреев из бывшего СССР, да и вообще всех жителей той распавшейся в недавнем прошлом империи, независимо от их истинной национальной принадлежности. Владение этим прекрасным и ненавистным когда-то многим из них языком и объединило ничем больше не связанных между собой людей в некую незримую, непризнанную ими самими, да и нелестную большинству из них общность. Были такие и на этом рейсе – пятеро: пухлая латышка из Риги, пожилая семейная пара евреев из Бруклина, высокий поджарый украинец, назвавшийся Ростиславом, и она – Таня. Объединили их, кроме общего языка, ещё и общие неприятности: они не улетели. Познакомились они в очереди – в длинной полуторачасовой живой ленте, в которую их выстроили, когда выяснилось, что рейс их отменён. Вот просто так – отменён. Объяснения служащие авиакомпании давали крайне невнятные и противоречивые: от забастовки лётчиков, до технических проблем с самолётом – и ни одно из них ничего не меняло в их ситуации. Они не улетели и оказались во власти двух пожилых шведок, которым выпало несчастье разгребать в свою смену весь этот бедлам. Работали те чётко, аккуратно и предельно вежливо, но было заметно каких усилий стоит им сохранять невозмутимость, что они уже осатанели от сплошного потока возмущений, жалоб и претензий двухсот пятидесяти шести рассерженных взрослых, четырёх ноющих детей и двух беспрерывно вопящих младенцев.

Найти и узнать друг друга, им было не сложно: все они вслух, громко, как любят наши бывшие и нынешние соотечественники и, конечно, по-русски, выражали своё возмущение – так и познакомились. Две блондинистые шведские Мойры обрекли их на ночёвку в одном и том же отеле неподалёку от аэропорта, выдали посадочные талоны на завтрашний рейс, направления в гостиницу, по кипе цветных бумажек с извинениями от авиакомпании и обещаниями всяческих льгот в будущем и, натужно улыбаясь сквозь одинаково ровные блестящие зубы, пожелали хорошо отдохнуть перед полётом.

– Чем лыбиться, лучше бы в Рэдисон поселили, – проворчал Ростислав, разглядев на ваучере название гостиницы. Удачливый и избалованный высокими заработками программист, он летел в Америку по приглашению на работу в солидной фирме и планировал, если получится, остаться надолго. Раскошелиться на Рэдисон авиакомпания не пожелала, и большой отливающий перламутром туристический автобус отвёз их в скромный, тихий и безликий отель в пяти минутах от аэропорта, называвшийся по-домашнему уютно: «Доброе утро».

– Будет бедненько, но чистенько, – расхожей банальностью резюмировала опытная Айна: дебелая крашенная блондинка, летящая из Риги в Нью-Йорк, а потом куда-то дальше, вглубь Америки, к следующему, найденному по интернету потенциальному мужу. Говорила по-русски она совершенно чисто, и Таня вскользь подумала, что Айной та стала не так давно, а была до того просто Аней, да и латышкой оказалась, скорее всего, не по рождению, а по «призванию» – то бишь, по очередному мужу.

Кроме них пятерых, в том же автобусе оказалась ещё группа молодых евангелистов из Огайо. Адепты аскетического учения носили Библии в разноцветных рюкзаках, были

пёстро одеты, вели себя шумно, весело и доброжелательно и искренне радовались ещё одному тяжкому испытанию, посланному им Всевышним. Пейзаж за окном автобуса не поднимал настроения: был морозный и облачный вечер, и была середина ноября – не самое весёлое сочетание времён. Уже не осень: голые, безлистные, тонко прочерченные на размытом фоне мутного серого неба чёрные скелеты деревьев, тёмно-коричневые подмёрзшие поля, съёжившиеся остатки пожухлой травы – ожидание зимы, но ещё не зима. Всё застыло в неловкой, напряжённой позе и терпеливо ждало снега, который, наконец-то, прикроет так бесстыдно обнажённую перед чужими нищету северной природы.

Долговязая копия аэровокзальных див, такая же невозмутимая и зубасто-улыбчивая блондинка, быстро оформила всех, выдала ключи от номеров и талончики на ужин. Комнаты Тани, Ростислава и Айны оказались рядом, на втором этаже; Григория и Софьи – бруклинской пары – этажом выше. Портье в отеле, видимо из экономии, не было, и они сами разнесли по комнатам свои нетяжёлые пожитки. Багаж остался в аэропорту, с собой у них было только то, что называется ручной кладью, и в этом была ещё одна проблема: переодеться для ужина было не во что. В дорожной сумке через плечо у Тани был только спортивный костюм, в котором она собиралась провести восемь часов полёта, тапочки, детектив в мягкой обложке, купленный в питерском аэропорту, и туго набитая косметичка. Маленький, безликий и стерильный номер царапнул Таню воспоминанием об одиночной больничной палате, где ей довелось провести недавно не самую приятную в жизни ночь. Но в отличие от больничной, кровать тут была широкая, двухспальная; на полке стояла никелированная кофемашина, а в тумбе письменного стола оказался бар-холодильник, наполненный маленькими бутылочками. Впрочем, там же обнаружился и умопомрачительный прайс-лист. Она разделась, посидела, остывая, в кресле – кожанам приятно холодил ягодицы – и полезла под горячий душ. Постояла, расслабляясь под жиденькими струями, выстирала трусики; сообразила, что других у неё нет и одеть в ресторан нечего; подумала, что через тонкое, обтягивающее платье-джерси отсутствие этой детали будет заметно, хмыкнула и одела только колготки, оставив трусы сохнуть на едва тёплой батарее.

Когда она спустилась в ресторан, там уже сидели Григорий с Софьей: милые забавные старики, с удовольствием и со вкусом путешествующие по миру. Они уже побывали в Африке и в Японии, объездили всю Скандинавию, а сейчас возвращались из Италии, в которую приезжали уже третий раз. Как пояснил разговорчивый, похожий на пожилого юношу, худощавый, порывистый, с седой шапкой кучерявых волос муж: первый раз был не в счёт – тогда, много лет назад – они просидели три месяца в Римини, ожидая визы в Америку; и дальше Рима на те гроши, что им выдавали, выехать не могли. Теперь они тщательно и не торопясь изучали все, что упустили: Флоренция, Венеция, Падуя, Капри. Названия старинных городов, имена художников и архитекторов, описания пейзажей и картин, звучали в рассказах этих двух бывших школьных преподавателей литературы так восторженно-пафосно, но в то же время так дразняще сочно и заманчиво, что Таня в очередной раз привычно загрустила, в очередной раз подумала, что занимается не тем, что вот бросить бы всё и... Путешествовали они экономно, высккивая отели и билеты подешевле, отчего и оказались в Стокгольмском аэропорту, сделав дополнительную и, как выяснилось, неудачную пересадку. Из всей компании они единственные не нервничали и не огорчались задержке и, похоже, даже радовались ещё одному, выпавшему на их долю приключению. Они никуда не торопились, их никто не ждал. А её ждал и волновался в новенькой, двухспальной, купленной на вырост квартире с окнами от пола до потолка и с видом, конечно, не куда-нибудь, а на Гудзон, любящий и любимый муж. Через несколько минут вместе появились Ростислав и Айна: случайно встретились в коридоре.

Выросшие в те, не такие-то и давние, а лишь забытые многими невыездные времена, советские (вот оно правильное слово: не русские, не русскоязычные – советские!) люди при слове «ресторан» представляют себе что-то пышно-роскошное: официант в манишке, белая хрустящая скатерть, серебро, блеск хрусталя. Это потом, поездив по Европам и прочим «зару-

бежьем» и походив там по «ресторанам», поняли они, что дело-то лишь в богатстве их родного, «великого и могучего» русского языка, да в душе народной, изголодавшейся, на четырнадцать классов даже за столом разделённой и потому давшей столько разнообразных имён заведениям, где можно хоть что-то поесть. Куда там всем прочим сытым с их «ресторантами» да «тратториями» – чуть ли ни двадцать знакомых каждому с детства синонимов этому заморскому слову, набирается по толковым словарям! Так вот в гостинице тоже был ресторан: покрытые пластиком столы без скатертей, пластиковые же стулья и никаких официантов – впрочем, за стойкой в углу колыхалась пухлая тайка, которая забрав выданные им талоны, показала – нет, не меню – а где стоят чистые тарелки, и на ломаном английском пояснила, что спиртное можно заказать отдельно, за деньги, у неё. Впрочем, кормили неплохо: шведский стол с минимальным, но вполне съедобным выбором: что-то с мясом... или это была курица, что-то точно было рыбное, так, по крайней мере, было написано на замасленной табличке, воткнутой в рис, и, конечно, было вдоволь безвкусных голландских овощей – и не дорого, и, по слухам, очень полезно. Все позволили себе по бокалу дешёвого белого вина – чтобы снять напряжение – пояснил словоохотливый Григорий. Он весь вечер старался быть душой компании, острил, рассказывал истории из их путешествий, перебивал, никому не давал вставить слова, и все с облегчением вздохнули, когда Софья, наконец, вытащила его из-за стола и повела спать – вставать всем было рано. Трое оставшихся, не сговариваясь, заказали ещё по бокалу.

После второго бокала Таня захмелела. Всё напряжение сегодняшнего дня и нервогрёпка прошедшей недели: со всеми стыдными анализами, бесчисленными гинекологическими креслами, бабками-заговорщицами, напыщенными профессорами и их блудливыми ассистентами стали растворяться в двух бокалах кисленького винца, и ей жутко захотелось полностью сбросить всё это, окончательно смыть, смыть эту грязь, все эти налипшие на теле ракушки, тормозящие её, мешающие жить легко, в припрыжку, как она привыкла и, пусть ненадолго, но почувствовать себя той: прежней и свободной Таней. Вот уже два года они с мужем старались завести ребёнка – и не получалось. Они делали всё возможное: прошли все тесты, и всё вроде было в порядке у обоих. Кто-то посоветовал Тани известную швейцарскую клинику, и муж поддержал. А уж заодно Таня решила заехать в Питер, из которого много лет назад и улетела в Америку жить, навсегда. Муж слегка удивился такому решению: Таня никогда не рвалась на бывшую Родину. В Питере у неё никого не осталось. Родителей давно не было в живых, немногочисленных подруг разбросало по свету, и делать ей там было нечего – ностальгии Таня не испытывала. Она наговорила ему какой-то милой чепухи о детских воспоминаниях, о мечте вновь подняться по эрмитажной лестнице и ни словом не обмолвилась об истинной цели поездки: сходить к насоветованной ей на разных интернет-форумах известной бабке – то ли колдунье, то ли экстрасенсу, которая, заговорами и зельями лечила бесплодие. От посещения колдуньи у Тани, кроме, чувства неловкости и брезгливости, осталась лишь злость на себя и недоумение: как она – взрослый и рациональный человек, могла в это вляпаться. Жалко было не денег – для неё это была смешная сумма – было просто жгуче обидно, как в детстве. Впрочем, швейцарская клиника тоже ничем не порадовала. Её промучили два дня и снова повторили то, что она знала и так: что анализы хорошие; просмотрев бумаги мужа, тоже ничего не обнаружили и предложили приехать им вместе, и провести искусственное оплодотворение. Это бы их последний шанс, но для этого незачем было лететь в Швейцарию – это они могли проделать и в Нью-Йорке.

Они заказали ещё вина, а потом белобрысый, но такой милый Ростислав – и теперь уже не Ростислав, а просто Ростик – такой обаятельный и остроумный – заказал бутылку шампанского. А потом эта гримза – пухлая Айна – на что-то обиделась или нет, не обиделась, а просто позавидовала, приревновала, что умница Ростислав обращается все время к ней, к Тани, и ушла, а Ростик заказал ещё одну бутылку шампанского и шоколадку, и в ресторане уже почти никого не осталось, и жирная тайка всё намекала им, что, мол, пора уже – у них же рейс рано

утром. Они уже знали друг о друге всё, ну почти всё: были рассказаны и правдивые, и слегка изменённые версии прошлого и настоящего. Она знала, что он разведён – он, что она замужем и счастлива; что любят они одни и те же фильмы и танцевали в студенческих общагах под те же пластинки. Они покурили у входа в гостиницу, и Ростислав проводил её до дверей номера, попрощался и тут же – едва успела закрыться дверь – постучался снова, а она и не отходила от неё и когда открыла, сразу – уже ничего не говоря, обнял и вжался такими тёплыми и мягкими губами. Когда в темноте номера, уже обожжённая жаром его кожи, она хриплым, срывающимся шёпотом спросила: «А презерватив?» – он растерянно пожал плечами и каким-то детским обиженным высоким голосом ответил: «Откуда»? И она, не сказав ничего, задохнувшись новой волной желания, резко, рывком, потянула его на себя. Потом уже, после, анализируя случившееся, она подумала, что как интересно работает подсознание, что именно этот ответ, этот его такой искренний жест и решил всё, ведь если бы презерватив у него оказался, значит, готовился, рассчитывал. А так это было затмение, порыв, страсть – всё, что в тот момент ей и было нужно. Он оказался немного неумелым, но страстным и неутомимым любовником, и поспать им удалось совсем недолго. За завтраком Айна смотрела на Таню зло и с прищуром, Софья с Григорием радостно щебетали, а Ростислав, попытавшийся было похлопотать вокруг Тани, был вежливо отшит, понял и больше границу не переступал. За ними пришёл тот же перламутровый автобус. За ночь выпал снег, и возвращались они в аэропорт по той же дороге; но это был уже другой, радостный и светлый мир, с утренне бодрящим морозным воздухом, с залитым бледным желтком солнца уютным и пушистым зимним ландшафтом, в котором не осталось и следа от вчерашней ледяной неприкаянности.

### 3

Места в самолёте у них были порознь, и Ростислав сделал последнюю попытку: попробовал поменяться местами и сесть рядом, но Таня жестом показала ему, что делать этого не надо, и он сдался. Она переоделась в туалете в розовый флисовый спортивный костюм, забралась с ногами в кресло и открыла книгу. Через полчаса она поняла, что не помнит ничего из прочитанных десяти страниц – даже имён героев. Не закрывая книги, она стала вспоминать то, что произошло ночью, и вскоре поймала себя на том, что думает об этом так, словно произошло это не с ней, а с кем-то хорошо знакомым, но чужим человеком. Кому из нас не приходилось совершать неожиданные для самого себя поступки, когда оглядываешься назад и с интересом – и хорошо ещё, если не с сожалением или ужасом – думаешь: «А почему? Как же это я... ведь в здравом вроде был уме?» Но нет, ничего подобного с Таней не произошло. Она вспоминала детали, слова, жесты, словно пересматривала забытый фильм, словно зритель на скучном спектакле: не вовлекаясь, не сопереживая – без эмоций. Ни сожаления, ни стыда, ни восторга – ничего этого не было и в помине. Это была её первая измена, но она и не воспринимала это как измену – это было просто небольшое приключение, случай, даже – она усмехнулась – терапия. Да, да – терапия: он просто помог ей прийти в себя после стресса; она благодарна ему, но вовсе не собирается продолжать эти отношения; в её жизни он лишний. Они даже не обменялись телефонами. Стюардессы развезли обед; к нему она попросила маленькую бутылочку красного вина, а, поев, почувствовала, как тяжелеют веки, расслабилась и вскоре задремала, подобрав под себя ноги и укутавшись в грубое тёмно-синее самолётное одеяло.

Соскучившийся Марк, с огромным букетом встретил её у выхода из таможни; она, ускорив шаг, оторвалась от выходявших вместе её дорожных спутников, и, оглянувшись, помахала им рукой – всем вместе, не выделяя никого. А через две недели она поняла, что беременна и лишь тогда, смущаясь и хихикая, рассказала Марку про питерскую бабку-колдунью. Марк был так рад её беременности, так счастлив, что только ласково посмеялся над своей любимой, но такой суеверной и невежественной женой, а то, что их долгожданный ребёнок, прелестный

пухлый мальчишка, оказался блондином, его вовсе не смущало – мало ли как складываются гены. Тёмная это история: все эти гены, хромосомы, зиготы и эти, как их там – аллели...

## «Медлительный еврей с печальными глазами»\*

С каждым годом выбираться в отпуск Александру Никитичу становилось все трудней. Денег хватало – заработок тюменского нефтяника пока ещё позволял, несмотря на все скачки ненавистного доллара, летать куда хотелось и не отказывать себе пару раз в год, ни в чём из того, что требовала душа. Вот только душа и тело его требовали чего-то такого, что приходилось скрывать, изворачиваться и не раз вступать в конфликты с друзьями, желающими отдохнуть вместе, да и просто требующими совета от многоопытного Никитича, куда слетать, чтобы как следует расслабиться. Александр с помощью жены, у которой были те же проблемы с подругами, разработал несколько правдоподобных «легенд», но как человек простодушный, излагая их, быстро начинал сбиваться и путаться, чем вызывал обоснованные подозрения и недоверие собутыльников. Не в силах понять причину вранья, которое они явно ощущали, друзья злились, и скоро у него появилась репутация «темнилы», который найдя какой-то сладкий уголок, не хочет поделиться с товарищами. Популярности это ему не прибавило, прежние приятели отворачивались, Александр переживал и расстраивался, но поделать ничего не мог: признаться, куда он ездит хотя бы раз в год – означало потерю всего. Рассказать кому-то в тюменском посёлке, наполненном суровыми простодушными мужчинами и их строгими, высоконравственными жёнами, что мотается он через полмира, тратя немалые, тяжким трудом заработанные деньги, для того чтобы поваляться на пляже нагишом, в компании таких же совершенно голых мужчин и женщин – было невозможно. Легче было бы уволиться и уехать вон из города – или застрелиться.

А началось всё совершенно случайно, лет пять тому назад в Испании, где отдыхали они большой компанией: все из их посёлка, в том числе пару человек из его бригады и две воспитательницы из того же детсада, в котором работала Маша. Какие-то ушлые турагенты договорились о чартерном рейсе и групповой скидке, и промерзших за долгую зиму нефтяников на две недели и не задорого отвезли погреться к тёплому Средиземному морю. Отдохнули отлично: солнце было горячее, море тёплое и спокойное, а вино дешёвое. В один из дней, изрядно набравшись с вечера, проспал Александр намеченную экскурсию в ближайший городок, на рынок, за подарками для всей родни, и, дабы искупить вину, согласился вместо того, чтобы отпиваться пивом под зонтиком на пляже, пойти с Машей вдоль берега на длинную прогулку. Пиво, правда, он с собой прихватил – банок пять. Забрели они достаточно далеко от своего отеля. День был нежаркий, невысокое солнце то пригревало их, медленно бредущих вдоль края прибоя, то пряталось за кудрявыми облачками, с моря дул йодистый ветерок, и уже после второй банки краски стали ярче, ветерок мягче, а люди на лежаках изрядно симпатичнее. Так и добрались они до нудистского пляжа, о существовании которого и не подозревали. Если бы не четвёртая банка Хайнекена, положенная на вчерашние дрожжи, наверно, не стал бы Александр подначивать жену, но тут что-то разошёлся – и напрасно. Потому как вызов его благоверная приняла. Разделась легко: сбросила узенький лифчик, и так-то едва прикрывавший полную грудь, стянула трусики и, не оборачиваясь, зазывно покачивая гладкими бёдрами, быстро пошла в воду. И уже оттуда, окунувшись с головой, вынырнув и отплевавшись, призывно замахала рукой и, не стесняясь, – русские вообще не стесняются за границей громко разговаривать, считая, что их никто не понимает, – закричала: «Сашка, раздевайся. Иди сюда – это так здорово!» И он разделся. И пошёл в воду, как сомнамбула, не понимая, почему и зачем он это делает. Первое ощущение было таким сильным, такое чувство лёгкости и освобождения от чего-то не нужного, лишнего охватило его, что Александр испугался. Всю обратную дорогу он молчал, придя в отель, взял с жены клятву, что ни одной душе, ни сейчас, ни дома она об этом приключении не расскажет – и напился. Впрочем, напивался он каждый день – отпуск же, отдых.

Больше полугода не он упоминал об этом купании и вдруг в конце осени, когда сырая и промозглая слякоть сменилась таким же сырым пронизывающим морозом, а бледное солнце старалось как можно быстрее убежать с промерзшего неба, Александр, смущаясь, и от того нарочито грубоватым тоном, спросил: «А что, Машка, не съездить ли нам на курорт: отдохнуть, жопы голые погреть на солнышке?» Жена посмотрела внимательно – слишком хорошо изучила она своего супруга, чтобы не понимать, что тут что-то не так. И не ошиблась. Выяснилось, что вопрос Александр проработал основательно и хорошо подготовился: не зря просидел столько часов, осваивая интернет и тыча в клавиатуру заскорюзлыми, привыкшими к огромному разводному ключу пальцами, а она-то, наивная, считала, что он, как все – танки по экрану гоняет. Он изучил все курорты и отели, в которых разрешалось и даже поощрялось отдыхать нагишом. Часть из них он отмёл как семейно-нудистские: расхаживать, трясая гениталиями перед детишками, он правильным не считал; часть была отложена в сторону как исключительно свингерские (смысл термина Александр понял не сразу, пришлось залезть в словарь) – делиться пышными достоинствами супруги он ни с кем не желал и даже рассказывать ей о таких курортах не стал – на всякий случай. Оставался не такой большой и совсем не дешёвый выбор. Маша удивилась, но виду не показала: к морю хотелось, а вот в купальнике или без – ей, по большому счету, было всё равно. А вот ему – нет. То чувство свободы и в то же время близости, сродства с окружающим миром, которое он впервые испытал на испанском пляже, как первый укол наркомана, втянуло, подсадило его на эту иглу и требовало повторения. В свои «под сорок» Александр был в отличной форме: с его работой в спортзал ходить нужды не было, и Маша из-за бездетности, а может и в силу других причин, в свои тридцать пять сохранила девическую фигурку, весёлый нрав и жадный интерес к новым впечатлениям. Да и не в телесном было дело, не нагота окружающих волновала и будоражила его. Это не было эксгибиционизмом: он не стремился показывать себя кому-то, да и рассматривать других, за некоторыми, особо занятыми исключениями, было не слишком интересно. Манило другое: именно там, на испанском пляже, убрав последнюю преграду, впервые почувствовал себя Александр частью природы. Теперь его иначе, по-доброму, грело солнце, по-другому, ласково, обнимало море, и даже на пустынном нудистском пляже в Калифорнии, на тихоокеанском побережье, куда они добрались через несколько лет, где дул пронизывающий холодный ветер, бугрились обжигающе ледяные волны, и не было ни одной живой души, кроме них с Машей, он чувствовал себя уютно. Они с удовольствием погрелись на нескольких курортах Европы, побывали в пуританской Америке и остались разочарованы, и на пятый год своих тщательно замаскированных под обычный отдых поездок (приходилось вежливо увивать от предложений отдохнуть в компании и иногда даже лететь обходными путями, делая лишние пересадки), наконец, добрались до Мексики.

Отель из разряда «всё включено» стоял на берегу, на закрытой высокими заборами с трёх сторон, ухоженной территории: двухэтажные корпуса, затянутые вьющейся зеленью, балконы, крытые навесами из пальмовых листьев, прохладный номер с джакузи на двоих, услужливый, всегда улыбающийся персонал. А ко всему этому прилагалось яркое, но не обжигающее солнце, прозрачная ласковая вода, тенистый обсаженный пальмами пляж, под пальмами лежаки, круглосуточная и вполне приличная еда и, на удивление, мало отдыхающих. Народ был доброжелательный, улыбчивый, не молодой: большинству было явно за сорок, а некоторым так и далеко за шестьдесят, и жутко общительный. Александр с Машей не понимали, о чём эти голые люди часами беседуют у бассейна, над чем вместе смеются, но у них сложилось стойкое убеждение, что все друг друга знают: уж так запанибратски все здоровались и обнимались. А они были сами по себе. Во-первых, русских, кроме них оказалась всего одна пожилая пара из Бостона, которая улетела через три дня после их приезда, а языками ни Александр, ни Маша не владели. А во-вторых, им никто был не нужен. У них было всё, ради чего они с такими трудностями и добрались сюда, промучившись больше суток в дороге, с задержанным из-за снегопада вылетом

из Тюмени и долгой пересадкой в Москве. Был заждавшийся океан, встретивший их щекотными объятиями мелких волн, были пеликаны, камнем падающие с неба рядом с испуганными купальщиками и тяжело взмывающие вверх, на лету заглатывая добычу. Был коралловый риф, на который их отвёз маленький катамаран, и где они всласть наплавались с масками, в ластах и голышом, гоняясь за яркими разноцветными рыбками, были ночные купания и, конечно, было ленивое, расслабленное лежание на пляже. Маша равномерно, без белых полосок от купальника, подрумянивалась на солнце (потом приходилось объяснять подругам, что загорала в солярии), а Александр поставил свой лежак в тень под большим зонтом и в полузабытьи, уронив в песок купленный в аэропорту детектив, слушал шум прибоя и тихий шорох ветра, игравшего в вышине пальмовыми листьями. Даже вставать за следующим пивом было лень, и маленькие шустрые официанты – мексиканцы, быстро освоившие несколько русских слов, приносили ему из бара холодное местное пиво в пластиковых стаканах. Как и в большинстве такого рода отелей, там были ещё ежевечерние шоу и, учитывая специфику курорта, с легко-эротическим уклоном. Представления эти смахивали на клубную самодеятельность и были такого уровня, что даже Александру с Машей, не избалованным у себя в Сибири подобными развлечениями, быстро стало скучно. Сходив дважды, и оба раза не досмотрев до конца, они перестали там появляться и проводили вечера, гуляя вдоль океана или сидя в открытом баре на пляже, почти у самой воды.

Так проскользнуло десять беззаботных дней, и на следующее утро их будет ждать машина, чтобы отвезти в Канкун, в аэропорт, а дальше ждёт долгий путь домой, в морозную ледяную стужу, которая, как он выяснил в интернете, навалилась на их края. Настроение было грустное, и Александр решил попробовать ещё раз, напоследок, сходить на шоу – может, удастся развеяться.

Представление на этот раз оказалось необычным. Это было даже не шоу, а тематический вечер, и, судя по тому, как была одета публика, народ об этом знал и готовился заранее. По небольшому залу с подиумом в центре и с обязательным шестом для танцев, бродили молодые красотки, завёрнутые в нечто, похожее на рыболовные сети с крупной ячейкой, в коротеньких кожаных юбках, топорщившихся на мощных задах, в кожаных ошейниках с шипами, высоких сапогах и с плётками всех размеров. Мужчины, сгрудившиеся у стойки, напоминали то ли клиентов бара «Голубые устрицы», то ли пародию на офицеров Третьего рейха. Из чёрной кожи было всё: мотоциклетные куртки, жилеты, ошейники, шорты, а то и просто ремешки с чашечкой впереди, едва прикрывающей причинные места, и оставляющие открытыми дряблые зады и, конечно, фуражки с высокой тульёй. Особенно выделялся один: крупный и громкоголосый толстомордый блондин в кожаном жилете, из которого выпирали жирные груди, и в таких же кожаных чёрных плавающих. На его фуражке, в отличие от прочих, матово поблескивал череп с костями. Для начала публику разогрел местный балет, сплясавший под фонограмму два танца, в которых достаточно неуклюже то ли использовалась на полном серьёзе, то ли пародировалась тема садомазохизма: судя по всему, тематика этого вечера. Маша смотрела с интересом, а Александр, почему-то разозлился. Он уже дважды сходил к бару, грубо растолкав столпившихся мужчин в коже, и чем больше пьянел, тем злее становился. После выступления танцоров начались самодеятельность и конкурсы: на подиум, подбадриваемые ведущим – местным массовиком, стали выходить поодиночке или парами отдыхающие и что-то изображать под страстную и очень громкую музыку. Пора было уходить, и Маша уже почти что вывела Александра из тесного зала, но тут он заметил что-то, что так заинтересовало и поразило его, что грубо отцепив от себя руки жены, он застыл и уставился на маленького человечка, сжавшегося на скамеечке в затенённом углу, вдали от подиума. Человек был худ, мал и одет в полосатую концлагерную робу, даже круглая полосатая шапочка-таблетка завершала этот страшный наряд, так странно и неуместно смотревшийся даже в этом гадковатом бедламе. Александр было рванул к нему, но в этот момент человек, стараясь быть незаметным,

несмотря на свой вызывающий костюм, встал и неуверенной походкой направился к выходу. Он пошатывался и был или пьян или сильно на взводе. Александр и сам уже находился за гранью самоконтроля. Он был уже в том состоянии, когда знающие его люди говорили себе и окружающим: «Пора сваливать – у Никитича упала планка». Случалось это редко, но когда случалось, то, что такое Никитич в гневе, и в посёлке, и на буровой знали хорошо. И Александр знал за собой эту беду, но справиться и контролировать это не мог. Когда бешенство проходило, а проходило оно быстро, всплеск был коротким, он иногда и сам не мог объяснить, что именно так вывело его из себя. Знала это и Маша по своему печальному опыту, угодив дважды под тяжёлую руку мужа. И сейчас, подёргав его осторожно за рукав, несколько раз поныв: «Ну, Сашенька, ну пойдём уже, ну не надо» и, заглянув сбоку в налитые, бычьи глаза, отошла в сторону и приготовилась к худшему. Александр дождался, пока человек в арестантской робе выйдет из шумного зала, а шёл он, видимо, в сторону туалета и, подловив его на повороте за угол, где их никто не видел, сгрёб того за грудки, захватив своей мощной лапой оба борта арестантского одеяния и занеся вторую для удара:

– Чё, сучок, – думаешь, смешно вырядился?

Человечек, даже стоя на цыпочках – а он почти висел в воздухе, касаясь пола лишь носками стоптанных туфель, – не доставал Александру и до плеча. Он по-птичьи повёл, дёрнул головой и совершенно спокойно, словно не видя занесённой руки, ответил тихо по-русски:

– А разве должно быть смешно?

Говорил он с каким-то мягким акцентом, с запинками, как бы вспоминая давно не используемые слова.

– Так ты ещё и русский? – вызверился Александр.

– Не совсем, – так же спокойно ответил человек, продолжая, как кукла-марионетка, покачиваться на носках – Александр удерживал его практически навесу одной рукой. – Я еврей из Литвы.

– Так как же ты, еврей, и в таком паскудном наряде? – Александр от изумления начал потихоньку приходить в себя.

– Если вы меня отпустите, то я попробую объяснить, – так же тихо и безжизненно ответил тот, а когда Александр разжал кулак и опустил занесённую правую руку, добавил:

– Давайте пойдём, выпьем что-нибудь – это долгая история.

Они не вернулись в зал, а вышли на пляж, к открытому круглые сутки бару, взяли по двойному чистому виски и сели в стороне, за крайний столик, стоящий прямо на песке. Маша увязалась было с ними, но Александр показал ей знаком, что не надо, и она, надувшись, ушла в номер – собирать чемодан.

– Кстати, меня зовут Джозеф, – представился мужчина, – или Иосиф, как вам удобнее.

Александр, всё ещё слегка на взводе, буркнул в ответ своё имя. У стойки бара при ярком освещении он впервые разглядел, на кого набросился, и почувствовал себя неудобно – это был старик: тощий, щуплый, но с прямой спиной и гордо задраным подбородком. Старик был не брит, на впалых щеках пробивалась седая щетина, выглядел он устало, но большие, чёрные и печальные глаза смотрели на Александра с интересом.

– Моя история, собственно, ничем не примечательна, – начал он, крутя в руках стакан с виски, – ну, по крайней мере, для того времени. Я родился в Литве, когда она была ещё самостоятельной. Когда началась война мне было шесть лет, отца сразу забрали в армию, где он тут же и погиб, а мы уехать не успели. Времени не было – немцы заняли Литву в первые дни войны. Нас: меня, маму и деда, спрятал сосед – пожилой литовец, школьный учитель. Мы просидели в подвале его дома почти два года, а потом кто-то из соседей заметил и донёс. Учителя расстреляли, а нас троих отправили в концлагерь. Дед умер ещё в поезде, в товарном вагоне, в котором невозможно было даже сесть, так плотно он был набит. Меня с матерью разлучили, и больше я её никогда не видел. Потом уже, намного позже, я выяснил в архивах, что

не стало её тогда же – в сорок третьем. А я выжил. Не стану рассказывать вам обо всех ужасах этого – вы всё и так, наверняка, знаете. Сначала чудом выжил в одном концлагере, потом меня и ещё множество детей и подростков почему-то перевезли в другой, а потом, в начале сорок пятого, нас освободили американцы. И, когда у меня, тогда уже десятилетнего доходяги, случайно появилась возможность через Красный Крест выбирать, куда я хочу поехать, я выбрал Америку. И вот живу там уже почти шестьдесят лет. Был женат – жена умерла рано, женился снова, а, кстати, вот и она. Легка на помине, – он помахал рукой спешащей к ним крупной женщине лет пятидесяти:

– Я здесь, Лиз. Мы тут разговариваем, – сказал он ей по-английски, когда она приблизилась. – Всё в порядке. Нет, не надо волноваться, иди в номер или погуляй, пожалуйста, я тебя прошу.

Лиз была одета для шоу. На ней был тот самый, распространённый среди дам наряд: верх из сетки и короткая кожаная юбка. Только вместо сапог на ней были надеты туфли на высоком каблуке и чёрные чулки на широкой резинке, что делало её грузную фигуру ещё комичнее. Она недовольно фыркнула и сердито покосилась на Александра.

– Шоу ещё не закончилось. Я вернусь обратно в зал и, хорошо бы, чтобы ты тоже пришёл, – раздражённым тоном громко сказала она, развернулась и пошла назад, похлопывая себя плёткой по бедру.

– А здесь-то вы как оказались, – спросил Александр, провожая взглядом Лиз.

– Да, собственно, из-за неё, – усмехнулся Джозеф, качнув головой в сторону удаляющейся жены. – Она любит эти игры, а мне в моём возрасте, честно говоря, всё равно в штанах загорать или без, а так – хоть какое-то освежение чувств, новизна какая-то.

– Так, а костюм-то этот, чёртов, при чем? – снова стал заводиться Александр.

– Ах да, костюм, – Джозеф отхлебнул из стакана, облизнул вялые губы, – Понимаете, мы здесь уже в третий раз. В первый раз я как-то и не заметил это шоу и эту публику, а вот в прошлый приезд я увидел этих, одетых под эсэсовцев придурков, и у меня всё закипело. И я решил в следующий приезд одеться лагерником, а потом дать кому-нибудь из них в морду, а там будь что будет. Тогда не убили и здесь выживу. Костюм сшил сам, а вот исполнить, ради чего всё это затеял, не успел – вы меня остановили. Глупо получилось, да? Дурацкая затея?

– Не знаю, – хмуро ответил Александр, – не знаю, что и сказать. Что-то тут не так. Как-то всё не серьёзно: настоящий лагерник и клоуны эсэсовцы, играющие в садомазо. Чушь какая-то, – раж давно прошёл, и, кроме усталости и жалости к этому запутавшемуся старику, Александр ничего не чувствовал.

Он сходил к бару и принёс ещё каждому по двойному виски. Какое-то время они сидели молча, отхлёбывали и смотрели, как языки приборя подбираются всё ближе и ближе к их ногам. Ветер медленно набирал силу, волны становились резче и злее, на них появились пенные шапки; звёздное поначалу, небо затягивалось тучами, и далеко, у горизонта пока ещё беззвучно вспыхнула первая молния. С востока набегала быстрая южная гроза.

– Клоуны, – тихо сказал Иосиф, – это пока они играют. Это ведь когда-то тоже начиналось как игра: в романтику, в патриотизм, в сильных личностей, в красивую униформу.

Он покатал в руках стакан, одним махом выпил то, что в нём оставалось и вдруг, улыбнувшись собственным мыслям, наклонился к Александру:

– А знаете что, Саша, – и тон его голоса стал мечтательно-просительным, – а давайте отмудохаем этого толсторожего как следует? Мне самому не справиться.

Их выгнали из курорта на следующее утро. Толстомордый не пожаловался, несмотря на разбитый нос, заплывший глаз и пару синяков на рёбрах, но его дебелая спутница подняла жуткий крик и вызвала отельную охрану. Александру было всё равно – у него и так отпуск закончился, а Джозеф был счастлив, и плевать ему было и на потерянные деньги за два оставшихся дня отдыха, и на тихое нытьё жены – повышать на него голос она теперь побаивалась.

\*Стихотворение Ю. Домбровского.

## Вымерзшая долина

Мы возвращались в Нью-Йорк после нескольких дней, проведённых в пыльном, провинциальном городке на границе с Канадой. Мы – это я и моя спутница. Я буду и дальше называть её «спутницей». Давать ей чужое имя мне не хочется, а называть настоящим, чтобы каждый читающий примерял его к воображаемому им портрету, перекатывал во рту и ласкал своим языком звуки, принадлежащие сейчас только мне – нет, ни за что.

Городок состоял из нищих окраин, трёх центральных улиц, заполненных разномастными туристами со всех концов планеты, двух дюжин отвратительных ресторанчиков с пищей, сэндвичами и ленивыми официантами и унылой, безликой архитектуры. Не стоил бы он и беглого упоминания, если б не назывался «Ниагарским водопадом», и не был бы влажный воздух над ним заполнен мощным низким гулом, которым местный крысолов, сменивший дудочку на гигантскую медную трубу, заманивал новые жертвы. Ночью было легче. Двойные окна и плотные шторы гостиничного номера отгораживали, спасали меня, как пчелиный воск гребцов Одиссея. Но днём, стоило лишь выйти из отеля, я цепенел и, как путник, услышавший пение Ундины, шёл, не разбирая дороги и светофоров на её голос. И не было сил противиться этому жутковато-сладкому, русалочьему зову.

Облако белого пара, поднимающегося из-под земли, было первым, что видел я, когда замороженно брёл на этот нарастающий гул и приближался на уже ватных ногах к водопаду. Чем ближе я подходил, тем громче становился его рёв, превращаясь в многоголосый стон, и уже казалось, что различаю я в нем отдельные голоса, безысходно воющие в этой преисподней, скрытой под густой завесой водяной пыли. Ужас охватывал меня, страх быть загипнотизированным, затянутым этим бешеным потоком и утащенным на едва различимые где-то далеко внизу, укрытые белым туманом камни. Страх присоединить свой голос к тем, кто уже мучается там, в каком-то из многочисленных кругов этого кипящего ада. До дрожи хотелось убежать. Я и проделывал это несколько раз – пытался обмануть духа водопада – делал вид, что ухожу, но он не отпускал, запутывал в лабиринте, и заколдованные дорожки парка приводили меня обратно, чтобы вновь и вновь испытывать этот адреналиновый шок, головокружение и холодок в животе от взгляда во внезапно открывающуюся под ногами бездну.

Мы избежали плена и вырвались из города на третий день ранним утром, когда солнце только начало размывать туман, висевший над ущельем, проеденным водопадом в древних скалах, а будущие жертвы его, ещё не до конца проснувшись, впихивали в себя однообразные гостиничные завтраки. Чтобы заглушить призывный зов водяных нимф и не развернуться назад, включил я музыку погромче, и итальянский тенор, не хуже Орфея, оградил нас от соблазна и вывел на нужное шоссе. Путь до Нью-Йорка был не близкий, так что решил я разделить его на две части и заночевать по дороге. Разрабатывая маршрут, обнаружил я заинтересовавшее меня место в трёх с половиной часах езды от Ниагары: парк «Вишнёвая весна». Любят американцы давать причудливые названия, которые частенько и переводить нелегко – уж так и разит от них напыщенной пошлостью. Маленький деревенский пансион, который я выбрал для ночёвки, назывался не менее изобретательно: «Замёрзшая долина». В конце июля в почти тридцатиградусную жару название это казалось верхом топонимической глухоты. Сколько этих «долин» разбросано по Американскому Северу. Есть «тихие», есть «спящие» – мы посетили и такую по дороге – а тут ещё и «замёрзшая». Впрочем – вот прелесть неродного языка – по-английски всё это звучало довольно мило. Отзывы об этом пансионе были восторженные, цена приемлемая и, что важно, находился он совсем рядом с парком. Заинтересовал меня этот парк тем, что считается он самым тёмным, расположенным вдали от всех городских и даже деревенских огней, и признан в Северной Америке лучшим местом для наблюдения за ночным небом. Поэтому построены там и обсерватория, и специально оборудованная пло-

щадка для астрономов-любителей, и даже выделено целое поле для романтиков, желающих просто поваляться на траве и поглазеть на звёзды. К последним я себя и относил, ну а уж спутницу мою такая идея привела просто в щенячий восторг. Услышав об этом, тут же принялась она складывать подстилку, подушку, средство от комаров, вино и готовить бутерброды – всё необходимое, по её мнению, для правильных астрономических наблюдений. Я внёс свою лепту, прихватив мощный морской бинокль, который, впрочем, в отличие от остального, почти не пригодился.

Приехали мы в пансион довольно рано, к полудню, задолго до обозначенного времени заезда, и потому не были удивлены, что нас никто не встретил. «Замерзшая долина» оказалась довольно неуклюжим снаружи зданием, перестроенным из огромного старого амбара, стоящего в неглубокой, залитой солнцем ложине. Вокруг него были хаотично разбросаны несколько маленьких, отделанных белым пластмассовым сайдингом одноэтажных коттеджей, явно на одну комнату. Выстриженный склон с редко расставленными клёнами и старыми, узловатыми и одичавшими яблонями. Крытый и обтянутый сеткой курятник с дюжиной пёстрых обитательниц. За домом поблескивал свежепромытыми стёклами большой парник, на вспаханном клочке рядом с ним уже поспевала кукуруза. Натуральное хозяйство. Всё добротно, ухоженно, прочно.

Потоптавшись на крыльце и бесполезно понажимав кнопку звонка, мы толкнули незапертую дверь. Внутри оказалась гостиная с электрическим камином, стильно обшарпанным деревянным буфетом с разрозненной посудой и пара плюшевых кресел. По стенам были хаотично развешены акриловые пейзажи в рамках, трофейные тарелки и копии старых плакатов с когда-то знаменитыми актёрами, имён которых сегодня не вспомнят даже историки кино. Над камином вместо традиционных в этих местах оленьих рогов висел большой плоский телевизор. Деревянная лестница, скрипучая даже с виду, вела на второй этаж, где и находились сдаваемые комнаты. Позже, уже в нашем номере, обнаружил я толстый, хорошо изданный альбом с цветными фотографиями старых амбаров, переделанных под разное жилье, и понял, откуда взят был весь этот эклектичный дизайн. Было душновато, кондиционера в гостиной не было, а вентилятор, вяло вращавшийся под самой крышей, не мог даже расшевелить густой, слежавшийся воздух. Из гостиной вглубь дома вела ещё одна дверь, в которую я, уже слегка раздосадованный таким приёмом, решительно постучался. Никто не ответил, и я поступил с ней так же, как и с первой – просто толкнул. Это ни к чему не привело, так как открывалась она в другую сторону. Решительность прошла, я аккуратно потянул дверь на себя, и мы вошли в следующую комнату.

Это уже было не гостевое, а явно хозяйское помещение. Всё было проще, не было тарелочек и картинок на стенах, мебель была поновей, хоть и того же навязчивого псевдокантри стиля, но, главное, не чувствовался вымученный дизайн, перенесённый сюда из какой-то другой, альбомной жизни. Всё было естественным: обычная комната в обычном провинциальном доме. За столом без скатерти, стоящем в центре комнаты, сидел голый до пояса пухленький мальчишка лет десяти. На нем были очки в роговой оправе, придававшие ему обманчиво взрослый вид, и джинсовые шорты. Он играл в компьютерную игру на планшете и не обратил на наше появление никакого внимания. Я кашлянул. Мальчишка очевидно отлично слышавший и наши звонки, и стук в дверь, и давно знавший о нашем существовании, наконец-то, оторвался от игры.

– Я сейчас позову бабушку, – ворчливо сказал он и, нехотя отложив планшет, ускакал в дверь в противоположном конце комнаты. Ни тебе «Здрасте», ни «Добро пожаловать».

Вернулся он быстро и явно недовольный результатом разговора.

– Пойдём, я проведу вас.

Он не повёл нас коротким путём – через дом. Он был бы рад отделаться от нас побыстрее, но, видимо, это было ему запрещено. Нам пришлось снова выйти на улицу. Пройдя через

длинную крытую галерею, идущую вдоль всего дома, мы вошли в помещение, оказавшееся той самой столовой, где мы и завтракали следующим утром. Там было четыре стола, такой же ободранный буфет, как в гостиной, и полуоткрытая кухня с барной стойкой. На кухне завывал кондиционер, едва разгоняя жар от нескольких одновременно включённых плит, и царила та самая «бабушка»: полная женщина лет шестидесяти пяти. Мы поздоровались, представились. У неё был грудной, низкий, властный голос и недобрые тёмно-коричневые глаза на широком миловидном лице. Даже когда она улыбалась, глаза были холодны, и нижняя, улыбающаяся часть лица казалась маской, приставленной к верхней, расчётливо и жёстко оценивающей собеседника. Поздняя полнота имеет свои преимущества – разглаживает морщины, и потому лицо её казалось молодым и гладким, в отличие физиономии её мужа – маленького, сухенького, морщинистого и почти лысого мужичка, с островками белёсого пушка на яйцеобразной голове и заискивающей улыбкой. Не возникало и сомнений в том, кто был здесь хозяином.

– Сэмми, – обратилась она к приведшему нас мальчишке, который всё ёрзал и норовил удрать, чтобы вернуться к прерванной игре, – отведи гостей в их комнату.

– Хорошо, бабушка, – бодро ответил тот, – Я всё им покажу.

Но бабку было не так легко провести.

– Нет, Сэмми. Ты доведёшь их до их комнаты, – растягивая слова, веско сказала она, гипнотизируя внука тяжёлым взглядом.

– Да, бабушка, – послушно откликнулся тот, но бабка только недоверчиво покачала головой и предложила нам по свежесдобитому овсяному печенью прямо с противня.

– Я бы отвела вас сама, но у меня на трёх плитах и в духовке одновременно всё готовится, а оставить даже на минуту кухню на этого... – и она безнадежно махнула рукой, с зажатым в ней полотенцем, в сторону мужа, в этот момент что-то нарезавшего на разделочном столе.

Мы взяли по ещё тёплому печенью: мягкому, ароматному и настолько невыносимо сладкому, что оба мы, откусив по разу, стали искать взглядом урну, чтоб незаметно его выкинуть. Бабка оказалась права в своих сомнениях: юный проводник довёл нас до уже известной нам гостиной, ткнул пальцем вверх, указывая на одну из комнат на втором этаже, и, не дожидаясь вопросов, немедленно смылся. Этого упрямого потомка первопоселенцев, пришедших на эту землю двести лет назад, манили иные, неслышные нам сирены. Его жестоковывные предки вырубали в этой лощине леса и сажали кукурузу, воевали с индейцами и помогали беглым рабам, хоть и не любили негров, но упорно, рискуя жизнью и свободой, делали это, потому что заповеди, которым они неукоснительно следовали, были выше личной неприязни. Они верили в сурового Бога, но даже с ним общались напрямую и на равных. Их пухлый потомок унаследовал те же гены несгибаемого упрямства, и, похоже, что даже властной бабке, которой подкинули внука на лето, не удастся обломать и обтесать его так, как выстругала она за много лет покорного Буратино из своего тихого мужа.

Мы достали вещи из машины и перенесли их в указанную мальчишкой комнату. Кроме порядкового номера на двери, оказалось у неё ещё и собственное имя, и тоже с претензией: «Черничный лофт». Просторный уютный номер, оформленный в сиреневых тонах – отсюда должно быть и «черничное» название – с душем, туалетом и маленьким холодильником, находился под самой крышей амбара. Огромная, высокая американская кровать с изголовьем, сделанным из каминной рамы. На одной стене декоративная полочка с какими-то фаянсовыми банками – на другой расписная крышка от супницы, закреплённая в проволочных зажимах.

– Проваанс, – то ли иронически, то ли одобрительно протянула моя спутница.

Я не стал уточнять тональность, быстро залез под душ и после, вполне довольный всем, спустился покурить вниз на открытую веранду с колоннами, уставленную горшками с цветами и находящуюся в это время дня на теневой стороне дома. Кантри с колониальным стилем были старательно замешаны в один коктейль и тут: стол со столешницей, выложенной керамической плиткой, чиппендейловские стулья, несколько разномастных, разохшихся и скрипучих кре-

сел-качалок. Солнце палило нещадно, но в тени было комфортно, да и ветерок, иногда пробегавший по лощине, делал день вполне терпимым даже для меня, напрочь не переносящего жару. С шоссе, идущего по верхнему краю долины, съехала машина и направилась к гостинице. Солидный серый Форд Эксплорер не торопясь проехал по дороге между коттеджами и, похрустывая гравием, остановился перед крыльцом рядом с моей машиной. На нем были канадские номера, часто здесь встречающиеся – благо до границы недалеко, да и сама граница для местных жителей достаточно условна. Из машины не торопясь вышел мужчина в синем джинсовом полукOMBинезоне, каких я давно уже не видел. Почему-то я считал, что эти штаны на лямках остались в прошлом, в моем далёком детстве, но впоследствии убедился, что ошибался, и что на самом деле они здесь крайне популярны, особенно у тех, кому приходится работать руками.

Чуть выше среднего роста, подтянутый, широкоплечий. Закатанные до локтя рукава клетчатой рубашки открывали сильные, волосатые руки. Ему было под пятьдесят. Жёсткие, чёрные, пересыпанные сединой волосы – то, что называют «соль и перец» – аккуратно и коротко пострижены. Многодневная щетина того же цвета ухожена и подровнена машинкой. Единственной деталью, снижавшей картинную мужественность этого, явно продуманного облика, были круглые очки в проволочной оправе. Именно они в сочетании с суровым, неуютливым лицом и придавали мужчине какой-то пасторский вид, хотя всё остальное определённо указывало на немолодого провинциального мачо.

Мужчина повторил почти всю ту же процедуру, через которую прошли и мы. Потоптался на крыльце и зашёл в гостиную, не дождавшись ответа на свои звонки в дверь. Затем сердитый Сэмми провёл его по внешней галерее к бабушке и вскоре обратно в дом. Всё это время спутник мужчины сидел в машине, не делая попыток из неё выйти и даже не открывая окно. Яркое солнце разбрасывало блики по лобовому стеклу форда, так что разглядеть сидящего внутри я не мог. Мне только показалось, что это крупный, круглолицый парень. А когда одинокое облачко ненадолго прикрыло солнце, я всмотрелся снова – в кабине была тень, разглядеть ничего толком я всё равно не смог, но на этот раз мне показалось, что у сидящего лицо дауна. Вскоре мужчина вышел из дома, сел в машину, развернулся и подъехал к одному из коттеджей, стоящему неподалёку у самого склона, и стал выгружать вещи. Пассажир по-прежнему оставался в машине.

В этот момент сверху, из нашего номера, спустилась моя спутница: в белой прозрачной накидке, в белой же шляпе, тёмных очках и с книгой в руках. На фоне этой полуколониальной эклектичной архитектуры в знойный, томно-ленивый день она бы отлично сошла за дачницу конца девятнадцатого века, если бы не короткие белые шорты и длинные загорелые ноги, явно не гармонирующие с атмосферой скромного, патриархального времени, в которое я собрался её поместить. Она надумала загорать и уже прихватила с собой подстилку и крем. Немного поспорив, так как загорать я не хотел, мы сошлись на том, что расстелем одеяло так, чтобы половина его была в тени – для меня, а вторая на солнце – для загорающих. Мы побродили по склону, выбирая тень погуще, и остановились под старым, высоким мелколиственным клёном, с корявым, витым, будто скрученным из нескольких стволом, и с такой густой кроной, что ни один луч солнца через неё не пробивался. Случайно ли так получилось, или моё подсознание привело меня туда, но выбрал я для отдыха дерево, которое росло буквально в метрах пятидесяти вверх по склону прямо над коттеджем, в котором остановилась эта странная канадская пара. Между коттеджем и нами больше ничего не было, и я мог спокойно наблюдать за происходящим, впрочем, как и они за нами. Спутница моя быстро разоблачилась и, оставшись в одном купальнике, улеглась с книжкой на своей половине одеяла, подставив солнцу коричневую спину с чёткими белыми следами от другого купальника, от которых она сегодня и мечтала избавиться. Времени у нас было достаточно. Ехать в парк мы собирались только ближе к закату, есть ещё не хотелось, так что можно было на пару часов расслабиться. Пока мы искали, где бы пристроится и раскладывались на подстилке, мужчина успел выгрузить багаж

из машины, и на правом сидении уже никого не было – видимо я пропустил момент, когда его спутник перешёл из машины в дом. Показалось мне или нет, но, когда мы разлеглись на одеяле и каждый занялся своим делом, угол занавески на окне коттеджа, выходящем на склон, колыхнулся, сдвинулся и так и остался в этом положении.

Меня заинтересовала эта странная пара. Я развалился в тени, закурил и, гордясь своей наблюдательностью, стал обдумывать сам собой упавший в руки сюжет. История, поначалу увлечшая меня, после короткого обдумывания и развития оказалась с душком: отказавшаяся ещё в роддоме от младенца-дауна мамаша; молодой тогда ещё папа, принявший на себя все тяготы воспитания неполноценного сына. Папа ещё и сейчас хоть куда, но вместо того, чтоб устраивать свою личную жизнь – заботится о сыне, путешествует с ним в детские каникулы и так далее. Всё жизненно, душещипательно и ужасно пошло. Пока я расстраивался, из коттеджа вышел человек, вперевалочку подошёл к машине и стал что-то из неё доставать. Несмотря на солнечную, жаркую погоду он был одет с головы до ног во всё чёрное. Издалека я не мог рассмотреть деталей, но удивила плотная, широкая, почти квадратная фигура и заметно-неловкие, неуклюжие движения. Человек захлопнул дверцу машины и, так же переваливаясь, вернулся в коттедж.

– Определённо, даун, – подумал я. – И папашка странный. А может это не родной папаша? Может это приёмный, взятый на воспитание ребёнок? Во искупление каких-то грехов юности бывший мачо решил посвятить себя воспитанию неполноценного, несчастного ребёнка?

Получалось ещё хуже. Показавшаяся поначалу такой привлекательной история тонула в липком сиропе. Я барахтался в ней, как муха в патоке, лихорадочно ища, за что бы зацепиться и выползти на твёрдую почву.

– Папашка... папаша... строгий такой... учитель... как пастор... о, пастор! Что там у нас было недавно с пасторами? Ага, скандалы с педофилией! Вот оно! Никакой он не папаша – он Гумберт, да ещё и гомосексуалист, использующий мальчика-дауна для удовлетворения своих извращённых желаний!

Сюжет заиграл совсем другими красками, в нем появилось пространство, в котором можно было вволю порезвиться. Чтобы подстегнуть воображение я отхлебнул ещё не успевшего нагреться белого вина, которое моя запасливая спутница захватила с собой под дерево, и зажёл следующую сигарету. Коттедж, в котором окопался страшный педофил, был прямо передо мной, на склоне лощины, и я нацелился на него, стараясь проникнуть в то, что происходит за белыми пластиковыми стенами этого небольшого и теперь уже зловеще-таинственного дома. Ну а из дома, похоже, что подглядывали за нами. Мне это только подбавляло азарта, а спутнице я этого, естественно, не сказал, так как подсматривали, наверняка, за ней. Быстро сочинил я сурового пресвитерианского пастора, съедаемого тайными страстями: мрачного, зажатого, горящего внутри адским огнём и бесстрастного снаружи. Потом придумал ему детскую фрейдистскую травму, безотцовщину, одинокую скрытную жизнь. Потом подумал, не оживить ли историю детективной линией с периодически пропадающими в Канаде мальчиками, но поразмыслив решил от этого отказаться. Оставался нерешённым вопрос: что делать с мальчиком-дауном, который сейчас находился в этом коттедже? Какую судьбу уготовил ему пастор? Закопает где-то на этих лесистых холмах или, как Гумберт, собирается колесить с ним по бесконечным американским дорогам, пока не произойдёт какая-нибудь случайность, и эта история не закончится сама с собой? Пытаясь выкрутиться из тупика, в который сам себя и загнал, я не заметил, как задремал.

Проснулся я, когда солнце уже начало пристраиваться к вершине холма, чтоб потом быстро юркнуть за него и оставить нас в душной темноте. Да и проснулся я не сам – растолкала меня моя спутница, которая уже обгорела и проголодалась. Вспомнив всё, что насочинял перед тем как заснуть, я с отвращением сплюнул – подобная дрянь могла прийти в голову только

под влиянием всех этих дурацких местных названий, безвкусицы и поддельного антиквариата, которым был набит этот бывший сарай.

– Хотя, – не без злорадства подумал я, – в таком месте подобная писанина наверняка пользовалась бы успехом.

Я представил замусоленную книжку со своим именем на яркой мягкой обложке, стоящую среди подобного же чтива в здешней гостиной, на полочке, составленной из книг, забытых проезжими путешественниками – и мне стало ещё противнее.

Вернувшись в номер, мы переоделись, сложили в сумку всё необходимое, чтобы потом сразу отправиться в парк смотреть на звёзды, и поехали ужинать в ближайший ресторан, который находился в нескольких милях от нашей гостиницы. Ресторан этот был рекомендован в самодельном, отпечатанном на домашнем принтере путеводителе, лежащем в нашем номере, как «спокойный и с достойной едой». «Спокойный ресторан» оказался придорожной забегаловкой с несколькими столиками без скатертей и барной стойкой, у которой уже сидели человек пять местных жителей: крепких, красношеих, в кепках-бейсболках с козырьками назад и, громко гогоча, пили пиво прямо из бутылок. В меню были сэндвичи, гамбургеры и «традиционный салат Цезарь» – так и было написано. Немолодая, потрёпанная официантка, с плохо запудренным синяком под глазом и давно немойтой головой, удивлённо посмотрела на меня, когда я, заказав бокал вина для спутницы, сам отказался от спиртного под предлогом того, что я за рулём. Забегаловка стояла прямо у шоссе, на несколько миль вокруг не было ни одного жилого дома, и в баре наверняка не было никого, кто пришёл сюда пешком или приехал на такси. Все были за рулём. Спотыкаясь, она принесла нам по выбранному, как мне показалось по названию, самому безопасному сэндвичу, от одного вида которых у меня началась изжога. Впрочем, спутница моя съела всё быстро и с удовольствием. Поковырявшись в сэндвиче, вытащив и съев из него всё, что не вызвало сильного подозрения, я рассчитался, и мы ушли, под одобрительное гуканье ковбоев у стойки, которые уже открыто пялились на мою спутницу.

До парка было миль пятнадцать. Уже смеркалось, и ехал я по извилистой дороге очень осторожно, особенно, после того как на очередном слепом повороте, фары выхватили из полутьмы стоящего прямо на обочине оленя. Впрочем, он не торопился под колёса и, не обращая на нас внимания, продолжал что-то выискивать в некошеной придорожной траве. Когда мы въехали в парк, было уже темно, но малиновая полоска подсвеченных уже закатившимся солнцем облаков на западе ещё давала достаточно света. Мне даже не пришлось включать припасённый красный фонарик – а другой в таких местах использовать нельзя – чтобы найти нужное нам поле, разложить на траве одеяло, достать припасённое вино и, устроившись поудобнее, уставиться в небо.

Я согласен с теми, кто утверждает, что язык наш не то что бы беден, а просто не приспособлен к описанию тех явлений, с которыми человечество до сих пор не сталкивалось: к примеру, квантовых измерений, многомерных вселенных и прочих новых понятий. Но небо-то, звёздное небо, которое висело над этой планетой до нашего появления на ней и будет мерцать ещё миллионы лет, после того как мы с неё исчезнем, – для него-то, почему не можем подобрать мы правильных слов? А нет их. Как, какими звуками и на каком языке описать то, что происходило, да ещё так, чтобы читающий, ощутил то же, что почувствовал я, когда пропало всё, всё вокруг, и мы остались вдвоём: я и небо.

Это случилось примерно через полчаса. Случилось, когда, наконец, наступила полная, абсолютно полная темнота, когда погасли даже никогда не темнеющие, подсвеченные далёким человеческим жильём края горизонта. Вот тогда-то и произошло чудо, ради которого мы туда и приехали. Неведомый фонарщик, взобравшись по бесконечной лестнице, смахнул пыль, протёр влажной тряпкой небосвод, произнёс волшебное: Эйн, цвей, дрей и... Я никогда не видел такого неба. Я знал, что оно такое, я мечтал о нём, я бродил по нему во сне. Школьником, как все мальчишки шестидесятых, я бредил космосом, знал в лицо всех космонавтов мира, помнил

карту Луны, лучше городской, собирал свой телескоп. Что мог я разглядеть в него в вечно-мутном, сером ленинградском небе!?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.